

Максим Власов

Зазор

**Философия человека,
стоящего между**

Максим Власов

Зазор

«Автор»

2026

Власов М.

Зазор / М. Власов — «Автор», 2026

Между событием и реакцией есть зазор — пространство, где возможен выбор. Эта книга учит удерживать его: отличать знание от уверенности, сомневаться без паралича, действовать в неопределённости и видеть в другом отдельного человека, а не продолжение себя. Сократ, стоики и современные исследователи становятся здесь собеседниками, а упражнения помогают проверять их идеи на собственной жизни. Так философия превращается в практику мышления и осознанного выбора — ради секунды, в которой вы остаётесь собой.

© Власов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Удивление и незнание: с чего начинается ум	12
Глава 2. Сомнение как скальпель, а не как болезнь	20
Глава 3. Язык: клетка и ключ	37
Глава 4. Логика, её мощь и её пределы	52
Глава 5. Мера: тайна точности	67
Глава 6. Что реально?	82
Глава 7. Кто такой «я»?	97
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Максим Власов

Зазор

Пролог

Зачем читать эту книгу

Полсекунды

Вам говорят обидное. Неважно кто — близкий человек, начальник, незнакомец в комментариях. Слова уже прозвучали, а ваш ответ ещё нет. Между ними — полсекунды.

Присмотритесь к этим полсекундам. В них решается почти всё. Можно ответить тем же и получить войну на неделю. Можно проглотить и получить язву. Можно — очень редко — увидеть, что человек напротив испуган, или устал, или сам получил час назад нечто похожее, и ответить не на слова, а на то, что за ними. Все три исхода росли из одного и того же крошечного промежутка. Разница между ними — не в обстоятельствах и не в характере. Разница в том, что происходило внутри этих полсекунд: было там что-нибудь или не было ничего.

У камня такого промежутка нет: толкнули — покатился. У животного он ничтожен: раздражитель — реакция, и почти без остатка. У человека он есть, и он — единственное, что делает человека человеком. Мысль, свобода, совесть, любовь, творчество, вера, юмор — всё это живёт не где-то в глубине души, а вот здесь, в этом зазоре между тем, что с нами происходит, и тем, что мы с этим делаем. Он может быть узким, как щель, — и тогда человек живёт как механизм: стимул, реакция, стимул, реакция, и в конце жизни удивлённо оглядывается: а где, собственно, был я? Он может быть широким — и тогда в него вмещаются размышление, выбор, отсрочка, отказ, замысел; тогда человек присутствует в собственной жизни, а не присутствует при ней.

Эта книга — о том, как сделать зазор шире. Только и всего. Но за этим «только» — две с половиной тысячи лет самой напряжённой работы человеческой мысли: от Сократа, который первым начал спрашивать «а что, если я ошибаюсь?», до современных психологов, которые измерили, как уверенность живёт в мозгу отдельно от знания. И ничего важнее этого человечество, кажется, не придумало.

У вас уже есть философия

Первое, в чём стоит признаться себе, прежде чем открывать философскую книгу: она вам не нужна для того, чтобы обзавестись философией. Она у вас уже есть.

У каждого человека есть представления о том, что реально, а что нет; что важно, а что пустяк; чего можно ждать от людей; что такое «я» и на что оно имеет право; что будет после смерти и стоит ли об этом думать. Эти представления не висят в воздухе. Они каждый день превращаются в поступки. Человек, который в глубине души убеждён, что «все люди в конечном счёте эгоисты», строит отношения иначе, чем тот, кто в это не верит, — и, что интересно, получает подтверждения. Не потому, что люди и вправду эгоисты, а потому, что его убеждение создаёт мир, который его подтверждает: он держит дистанцию — и в ответ получает дистанцию; он ждёт удара — и своим ожиданием провоцирует удар.

Убеждение, которое само производит доказательства, кажется не убеждением, а фактом. Человек, который считает, что «главное — не высовываться», прожил жизнь, в которой не высунулся, и теперь не знает, была ли она его. Человек, уверенный, что «сильные не плачут», носит в себе метафизику силы и слабости, которую никогда не проверял, и платит за неё телом.

Это и есть философия — просто не осознанная. Онтология, этика, антропология, учение о смерти — всё на месте, только в виде обрывков: фраза отца, сказанная в семь лет; интонация учительницы; лозунг с рекламного щита; вывод, сделанный после первой измены и с тех пор

не пересмотренный. Из этого мусора и золота у каждого собрана операционная система, на которой работает вся его жизнь. Он её не выбирал. Он её не читал. Он даже не знает, что она есть, — потому что операционную систему, как воздух, замечаешь, только когда она даёт сбой.

Она и даёт. Сбой операционной системы выглядит так: человек делает всё правильно и несчастен. Или: человек десять лет принимает одно и то же неудачное решение в разных декорациях и называет это судьбой. Или: у человека есть всё, что он хотел, и он не понимает, зачем вставать утром. Или, совсем просто: человек не может решить, уходить или остаться, и мечется между эмоцией и советом соседа, потому что у него нет ни одного собственного критерия. Не потому что он глуп. Потому что критерии — это философия, а философией он не занимался: считал, что это для профессоров.

Читать эту книгу — не значит добавить в жизнь ещё одно интеллектуальное хобби. Это значит впервые увидеть свою собственную операционную систему целиком, узнать, откуда взялась каждая её строчка, — и получить право её переписать. Не на чужую. На свою — впервые действительно свою, потому что впервые выбранную.

Что это даёт

Здесь мне полагается перейти к обещаниям, и я перейду, но с оговоркой. Я не буду говорить, что философия делает человека счастливым: это не так, и лучшие философы были кем угодно, только не счастливыми. Я скажу, что она делает с человеком на самом деле — и каждый пункт постараюсь привязать не к красивому слову, а к ситуации, которую вы узнаете.

Первое. Философия учит отличать вопросы от псевдовопросов. Это звучит скромно, а на деле снимает примерно половину человеческих мучений. «Почему это происходит именно со мной?» — вопрос, у которого нет ответа, и человек может биться о него годами. «Что из этого в моей власти?» — вопрос, у которого ответ есть всегда, пусть и не всегда приятный. Разница между ними — не в обстоятельствах, а в грамматике. Первый вопрос устроен так, что ответа не предполагает: в нём уже заложено, что происходящее со мной — какая-то особая несправедливость, требующая объяснения, которого нет и быть не может. Второй устроен так, что ответ есть по определению: что-то всегда в моей власти — хотя бы то, как я к этому отношусь. «Кто я на самом деле?» — вопрос, который предполагает, что где-то внутри спрятана вещь под названием «настоящий я» и её надо найти; человек ищет, не находит, приходит к выводу, что он пуст. «Чему я верен?» — вопрос про то же самое, но у него есть ответ, и ответ этот можно проверить делом. Философия — это, среди прочего, техника переформулировки. После неё либо появляется ответ, либо исчезает мучение. Иногда второе ценнее. Мучение, которое длилось годами, исчезает не потому, что вы нашли ответ, а потому, что вы увидели: вопроса, на который вы искали ответ, не существует. Вы искали число, которым можно измерить цвет.

Второе. Философия даёт паузу. Ту самую, из первого абзаца. Здесь я хочу быть очень точным, потому что это место, где скептик обычно машет рукой: «слова». Так вот: то, что рабу Эпиктету было ясно в первом веке нашей эры — что нас мучают не вещи, а наши суждения о вещах, — в семидесятых годах двадцатого века легло в основу когнитивно-поведенческой терапии. Её создатели прямо ссылались на стоиков. Сегодня это самый доказанный метод психологической помощи в мире; его оплачивают страховые компании, которые не оплачивают ничего, что не работает. Древняя философия прошла клинические испытания и прошла их успешно. Это не метафора: она работает. И работает потому, что расширяет зазор — вставляет между событием и реакцией маленькую комнату, в которой можно подумать. Не изменить событие — оно уже произошло. Не подавить реакцию — она уже началась. А вставить между ними паузу, в которой вы успеваете заметить: то, что я сейчас чувствую, — это не единственно возможный ответ. Есть другие. Эта комната и есть то, ради чего написана книга.

Третье. Философия даёт критерии. Большинство трудных решений в жизни — уходить или остаться, рискнуть или сберечь, сказать или промолчать, простить или порвать — человек принимает вслепую. Не потому что у него нет данных, а потому что у него нет системы коор-

динат, в которой данные что-нибудь значат. Данные без системы координат — это шум: тысяча фактов, каждый из которых одинаково ничего не решает. Нужны оси, по которым можно разложить этот шум и увидеть, что важнее. Он спрашивает друзей и получает столько же ответов, сколько друзей. Он «слушает сердце», не замечая, что сердце в понедельник говорит одно, а в четверг другое. Философия не решит за вас. Но она даст вопросы, которыми человечество проверяло решения на прочность тысячи лет: каким человеком меня это сделает? мог бы я хотеть, чтобы так поступали все? кому от этого станет хуже и готов ли я нести это? После таких вопросов выбор не становится лёгким. Он становится вашим. И это не то же самое: лёгкий выбор — тот, где не видно цены; ваш выбор — тот, где цена видна и принята.

Четвёртое. Философия даёт иммунитет. Обратите внимание: все виды манипуляции — от рекламы до пропаганды, от секты до токсичного партнёра — работают на одном и том же приёме. Они схлопывают зазор. «Только сегодня». «Все уже». «Некогда думать — надо действовать». «Ты либо с нами, либо против». «Если бы ты меня любил, ты бы не спрашивал». Каждая из этих фраз — попытка выбить у человека те самые полсекунды, потому что человек с полсекундами непокупаем и неуправляем. Тренированная мысль чувствует момент схлопывания физически — как сквозняк. Тело узнаёт раньше ума: грудная клетка сжимается, голос поднимается, рука тянется к телефону, чтобы поставить лайк или ответить. Это и есть схлопывание — вас торопят решить, пока вы не успели подумать. Мысль не всегда может объяснить, что не так, но она замечает: сейчас меня торопят подумать поменьше. Этого достаточно, чтобы остановиться. В мире, где на схлопывание чужого зазора тратятся крупнейшие бюджеты в истории, такой иммунитет — не роскошь.

Пятое. Философия даёт спокойствие перед неизвестным — включая главное неизвестное. Не то спокойствие, которое достигается отворачиванием: его хватает до первой болезни близкого человека. А то, которое приходит, когда вопрос продуман до конца и в нём не осталось несмотренных углов. Монтень говорил, что философствовать — значит учиться умирать, и это не мрачность, а практика: человек, который честно продумал свою конечность, живёт точнее. Он меньше откладывает, меньше тратит время на то, что «успеется», меньше боится — потому что страх кормится неопределённостью, а он ту неопределённость уже разглядел. Неизвестное страшно, пока оно неизвестное; как только вы посмотрели ему в лицо — даже если лицо оказалось ужасным, — оно перестаёт быть бездной и становится чем-то определённым: да, это будет. Да, это больно. Да, я не знаю, когда. Ужасно, но не бесконечно. Философия не отменяет смерти. Она отменяет панику. Это разные вещи, и вторая — в нашей власти.

Шестое. Философия даёт язык для внутренней жизни. То, что не названо, не может быть понято; то, что не понято, не может быть изменено. У человека внутри происходит огромная, сложная жизнь, а слов для неё — десяток: грустно, тревожно, злюсь, всё нормально. Философия — самый богатый словарь для внутреннего опыта, который создало человечество. Когда вы узнаете слово ресентимент — злоба слабого, которая перекрашивает себя в добродетель, — вы вдруг видите её в себе и в других там, где раньше видели «принципиальность». Когда вы узнаете, что греки называли акрасией — знать, как правильно, и делать наоборот, — вы перестаёте считать себя единственным идиотом на планете и начинаете разбираться, как это устроено. Слово — это ручка на невидимой двери. Без ручки дверь не открыть, даже если знаешь, что она есть. Туман, который нельзя схватить, становится вещью, которую можно повернуть, рассмотреть, назвать своим. И тогда с ней можно что-то сделать.

Почему именно сейчас

Философия нужна человеку всегда, но бывают эпохи, когда она из добродетели превращается в условие выживания. Наша — из таких.

Разница между добродетелью и условием выживания проста. Добродетель — это то, что украшает жизнь, но без чего она возможна: можно прожить, не занимаясь философией, и

ничего не рухнет. Условие выживания — это то, без чего жизнь перестаёт быть жизнью: не обязательно кончается, но теряет форму. В спокойные эпохи философия была добродетелью: приятным и полезным занятием для тех, у кого есть время. В эпохи давления она становится условием: без неё человек не выживает как человек, а расплывается в потоке, который его несёт.

Никогда прежде на человеческую способность думать не оказывалось такого давления — и речь не о метафоре, а о вполне инженерном подходе. Ленты, уведомления, автовоспроизведение, бесконечная прокрутка — это специально спроектированные механизмы, призванные сокращать зазор между стимулом и реакцией. Их цель проста: чтобы между «увидел» и «нажал» не оставалось ни секунды паузы — снова «увидел», снова «нажал». Каждая секунда раздумья оборачивается потерей для того, кто зарабатывает на вашем внимании. Поэтому само раздумье подвергается систематической эрозии: человек, который ещё пятнадцать лет назад спокойно прочитывал трёхсотстраничную книгу, сегодня с трудом дочитывает один абзац — и порой не понимает, как до этого дошло. Это не жалоба на молодёжь и не сетование на технику. Это описание среды, в которой способность держать паузу не тренируется, а планомерно вытаптывается, — и если её не защищать сознательно, она атрофируется так же предсказуемо, как атрофируется мышца без нагрузки.

Одновременно исчезло сопротивление. Мир стал мягким: еда доставляется, ответы гуглятся, любое неудобство устраняется приложением, любое несогласие — кнопкой «скрыть». Это приятно. Но человек — существо, которое формируется сопротивлением; без него он не отдыхает, а расплывается. Сопротивление — это то, что заставляет собираться: неудобство, которое нужно преодолеть; вопрос, на который нет готового ответа; человек, с которым ты не согласен и от которого нельзя просто закрыться. Когда всё это убрано, человек не становится свободным — он становится бесформенным. У него нет осей, по которым он мог бы выстроить себя, потому что оси появляются только там, где что-то сопротивляется. Когда внешней структуры не остаётся, единственное, что может удержать форму человека, — структура внутренняя. А внутренняя структура и есть философия: не набор знаний, а каркас, который держит, когда снаружи ничего не держит.

И ещё одно. Мы вошли в эпоху, когда машины делают за нас всё больше того, что раньше считалось умственной работой: считают, пишут, переводят, советуют. Хорошо это или плохо — отдельный разговор. Но одно очевидно: единственное, что нельзя делегировать, — это те самые полсекунды. Никто не может решить за вас, кем вам быть, чему быть верным, что назвать добром и ради чего согласиться на потерю. Всё, что делегируется, обесценивается: если машина может написать текст, текст перестаёт быть редким; если она может решить задачу, решение перестаёт быть достижением. Остаётся то, что нельзя передать, — выбор, который делаете вы, и никто другой. Зазор — последнее, что делает человека нужным самому себе: не обществу, не экономике, не близким, а именно себе. Без него человек нужен всем, кроме себя.

Философия в таких условиях — это не украшение образованного человека. Это гигиена мысли. Как чистить зубы: не героизм, а необходимость, о которой не думаешь, пока не поздно.

Возражения, которые вы уже готовите

Я знаю по меньшей мере три.

«Философы сами жили не лучше других». Верно. Сенека проповедовал бедность и был одним из богатейших людей Рима. Хайдеггер написал глубочайшие страницы о подлинности и вступил в нацистскую партию. Руссо писал о воспитании детей и сдал своих в приют. Из этого делают вывод: значит, всё это слова. Но вывод неверен. Скальпель не гарантирует, что хирург не порежется, — это не аргумент против скальпелей. Философия — не гарантия, а инструмент; инструмент можно не применять, применять криво или применять к другим и никогда — к себе. Из того, что некоторые владельцы инструмента им пренебрегли, следует не

бесплезность инструмента, а трудность честного его применения. Об этой трудности в книге будет сказано много.

Но здесь прячется и вторая ошибка, более тонкая, и стоит её назвать. Когда говорят «философы жили не лучше других», неявно предполагают, что философия должна делать человека лучше — как лекарство должно лечить. Но философия — не лекарство. Лекарство действует само, помимо воли больного; инструмент же ждёт, что его возьмут в руки. Сенека знал, что богатство не есть благо, — и это знание не заставило его раздать имущество. Оно дало ему язык, которым он мог описать своё положение, и шанс поступить иначе. Шансом он не воспользовался. Это не опровержение знания — это описание человека: можно знать, что делаешь неправильно, и продолжать делать. Философия не спасает от того, что ты человек. Она даёт тебе возможность — не гарантию — быть человеком сознательно.

«Это просто теория, а в жизни всё иначе». Это возражение я принимаю настолько серьёзно, что сделал его критерием отбора для всей книги. Каждая глава проходила через один вопрос: что изменится в жизни человека, который это понял? Если ответ был «ничего, но это красиво» — главы в книге нет. Здесь нет ни одной мысли, которая не переводится в поступок, в решение, в другой взгляд на конкретную ситуацию — на ссору, на болезнь, на выбор работы, на утреннее нежелание вставать. Философия, которая не меняет жизни, — не философия, а эрудиция; её в этой книге я старался избежать.

Но возражение «это теория» стоит разобрать до конца, потому что в нём спрятано недоверие ко всякому вообще мышлению. «В жизни всё иначе» — значит: есть жизнь, а есть теория, и между ними стена. На деле стены нет. Ваши решения и есть ваша теория — только непроверенная, неосознанная, никем не выбранная. Человек, который говорит «в жизни всё иначе», обычно имеет в виду: «я не думаю о том, как живу, и не хочу начинать». Он не противопоставляет теорию жизни — он противопоставляет мысль отсутствию мысли, называя отсутствие мысли жизнью. Но отсутствие мысли — это тоже позиция, и у неё тоже есть последствия: жизнь, которую ты не выбирал, но которой всё равно живёшь. Философия не отменяет жизнь и не заменяет её — она есть способ жить сознательно, а не по инерции. Разница не между теорией и практикой, а между жизнью, которую ты выбрал, и жизнью, которая случилась с тобой.

«У меня нет времени на такое чтение». Тогда у вас, скорее всего, нет времени и на собственную жизнь, потому что на неё уходит то же самое время — только незамеченным. Человек, у которого нет получаса на то, чтобы подумать, чего он хочет, тратит десятилетия на то, чего не хотел. Экономия здесь мнимая.

И это не риторический выпад, а точное описание. Время, которого «нет», не отсутствует — оно уже занято. Занято тем, что кажется важнее: лентой, сериалом, чужими словами, спешкой, которая никуда не ведёт. Человек не выбирал эту занятость — она его настигла. Но результат тот же: время уходит, и уходит на жизнь, которую он не выбирал. Полчаса в день — меньше двух процентов суток. Их отсутствие означает не нехватку времени, а то, что эти два процента уже отданы чему-то другому, и отданы без его ведома. Философия просит у вас не время — она просит вернуть то, что у вас и так есть.

Честный контракт

Теперь о том, чего эта книга не обещает и что потребует, — потому что нечестное начало обесценивает всё, что после него.

Она не обещает счастья. Счастье — побочный продукт правильно устроенной жизни, и, как всякий побочный продукт, оно не даётся тому, кто гонится именно за ним. Когда счастье становится целью, человек начинает следить за своим состоянием — достаточно ли я счастлив, почему я ещё не счастлив, — и это самонаблюдение отравляет всё, к чему прикасается. Счастье приходит, когда занят чем-то другим; оно не выносит прямого взгляда. Она не будет вам льстить: не скажет, что вы уникальны, что вы всё можете, что мир ждёт именно вас. Она

не заменит врача, если вам нужен врач, и не заменит Бога, если вам нужен Бог. И она честно скажет, где философия молчит.

Есть места — перед лицом чужого страдания, перед тайной, перед смертью ребёнка, — где мысль подходит к краю и должна замолчать. Не потому, что эти темы запретны или что о них нельзя говорить, а потому, что здесь кончается то, что можно выразить в понятиях: страдание другого нельзя перевести в формулу, тайну нельзя разложить на аргументы, смерть ребёнка нельзя объяснить так, чтобы объяснение утешило. Книга, которая продолжает говорить и там, лжёт: она делает вид, что у неё есть слова, которых нет ни у кого.

Она потребует усилия. Не потому что написана нарочно трудно — я старался, чтобы каждую фразу мог понять человек, никогда не открывавший философской книги, — а потому что думать трудно само по себе, и никакая ясность изложения не отменяет работы, которую читатель должен сделать сам. Думать трудно, потому что это значит удерживать вопрос открытым, когда хочется его закрыть; сомневаться в том, в чём ты уверен; отказываться от удобного ответа ради честного. Эту работу нельзя сделать за читателя — ясность текста только расчищает место, на котором она происходит.

Здесь будут места, где придётся остановиться и перечитать. Будут места, где вы не согласитесь, — и это правильно: в каждой главе я сам формулирую самое сильное возражение против того, что говорю, и стараюсь ответить на него честно, а не удобно. Если мой ответ вас не убедит — тем лучше; значит, вы начали думать сами, а именно для этого всё и написано. Книга, которая не оставляет места для несогласия, — не философия, а проповедь; я пишу не проповедь.

Она не будет пересказывать философов. Они здесь — не экспонаты, а собеседники: экспонат стоит за стеклом, к нему не прикоснуться, его можно только рассматривать и почтительно описывать; собеседник же вступает в спор, и спор с ним меняет тебя. Они спорят друг с другом, а я сужу спор с той точки, где мы стоим сейчас, — зная то, чего они не знали, и потеряв то, что они знали. Мы знаем про мозг, про эволюцию, про историю то, чего не знал никто из них; мы потеряли их отношение к смерти, их чувство космического порядка, их встроенность в общину, где каждый знал своё место. Что-то из их мыслей выдержало проверку временем и наукой; что-то — нет; что-то мы теперь понимаем лучше, чем понимали они сами.

Из всего этого книга не собирает коллекцию, а строит одно здание — собственную философию, простую в основании и, надеюсь, достаточно прочную, чтобы в ней можно было жить. Что это за философия, вы поняли уже из первой страницы. Всё остальное — её развёртывание: в вопросе о реальности и о «я», о времени и смерти, о свободе, страдании, добре, любви, деле, обществе, смысле, тайне и красоте. Каждая из этих тем будет разобрана не как музейный экспонат, а как вопрос, на который нужно ответить, чтобы жить дальше.

Одно уточнение о том, как устроено это здание. Слово «зазор» будет обозначать не одну субстанцию и не один механизм, а несколько родственных промежутков: между событием и ответом, человеком и его ролью, мной и другими, большинством и несогласными. В последней главе к ним добавится вопрос об открытости самого мира. Это не одно и то же; сходство между ними я буду считать не доказательством тождества, а приглашением проверить, действительно ли здесь действует одно и то же различие. При этом одни мои утверждения можно проверить на опыте, другие останутся философской интерпретацией, третьи — нравственным выбором, который я не стану выдавать за вывод из физики.

Если читатель отвергнет последнюю, метафизическую часть, это не обязывает его отвергать предыдущие: пауза перед ответом, верность слову и уважение к инаковости другого проверяются ближе и проще. Этим книга отличается от системы жёсткого дедуктивного типа, в которой всё держится на одном основании: не все её утверждения зависят от одной посылки, и потому она не рухнет целиком, если оспорить один из её этажей. Но единый центр у неё есть — вопрос о том, как человеку не сливаться с происходящим и не отворачиваться от него.

Как читать

Медленно. Это книга не для проглатывания, а для восхождения: четыре части — четыре этажа, и на каждый следующий лучше подниматься, постояв на предыдущем. Спешка здесь вредит не потому, что текст труден для понимания, а потому, что понимание требует времени: мысль, которую вы прочли за секунду, должна ещё осесть, прорасти, соединиться с тем, что вы уже знаете. Читать можно и вразбивку — в конце есть указатель по жизненным ситуациям, — но целиком она работает иначе, чем по частям: как здание работает иначе, чем груда кирпичей. Кирпичи можно переносить по одному; здание стоит только целиком.

С карандашом. Спорьте на полях. На виртуальных в том числе. Записывайте, где не согласны. Философская книга, оставшаяся чистой, не была прочитана. Пометки на полях — это не украшение и не следы усердия, а способ думать на бумаге: пока вы не записали возражение, вы его не сформулировали, а пока не сформулировали — не поняли, с чем именно спорите. Ваши пометки — это ваш разговор с текстом; без них разговор односторонний.

Делая упражнения. В конце каждой главы есть «Лаборатория» — одно упражнение мысли на десять минут. Оно не обязательно. Но между человеком, который прочитал, что свобода — это ширина зазора между причиной и действием, и человеком, который три дня ловил свой автоматизм и вставлял в него секунду паузы, — разница как между тем, кто читал о плавании, и тем, кто вошёл в воду. Чтение даёт знание о предмете; упражнение даёт опыт предмета. Это разные вещи, и второе нельзя получить из первого.

Не торопясь верить. Всё, что здесь сказано, — приглашение к проверке, а не к согласию. Если после прочтения вы будете думать в точности как я, книга не удалась. Если вы будете думать сами — лучше, точнее, шире, чем до неё, — она сделала своё дело. Думать самому не значит со всем не соглашаться: это значит проверять каждое утверждение на собственных основаниях и оставлять только то, за что вы готовы отвечать.

Вернёмся к тем полсекундам.

Они у вас есть прямо сейчас — между этой страницей и следующей. Вы можете закрыть книгу и пойти по своим делам, и это будет реакция. Вы можете перевернуть страницу, и это тоже будет реакция. А можете задержаться на мгновение и заметить, что впервые за долгое время у вас в руках предмет, который не пытается сократить ваше время на раздумье, а просит его увеличить. Это редкость. Отнеситесь к ней бережно. Мир, из которого вы только что вышли, устроен наоборот: он просит сокращать, торопиться, решать не думая. Книга просит противоположного — и уже этим она делает то, о чём говорит.

Всё, что будет дальше, — о том, как в этих полсекундах поместилась целая цивилизация, и о том, как в них можете поместиться вы.

Часть I. Инструменты мысли

Прежде чем думать о мире, нужно научиться думать.

Глава 1. Удивление и незнание: с чего начинается ум

Молния

Попробуйте прямо сейчас объяснить, как работает застёжка-молния. Не «зубчики сцепляются» — это не объяснение, а название. Именно как: почему бегунок, идущий вверх, соединяет две ленты в одну, а идущий вниз — разъединяет, хотя проходит по тому же самому месту? Что там внутри бегунка? Почему замок не расходится посередине сам собой?

Скорее всего, вы только что обнаружили нечто неприятное. Секунду назад вы были совершенно уверены, что знаете, как устроена молния. Вы застёгиваете её тысячи раз в год. Она не вызывает у вас никаких вопросов. А как только потребовалось произнести объяснение вслух — выяснилось, что знание было не знанием, а ощущением знания. Оно рассыпалось от первого «а почему».

В начале двухтысячных психологи Леонид Розенблит и Фрэнк Кейл провели серию простых экспериментов: просили людей оценить, насколько хорошо они понимают, как работают повседневные вещи — молния, сливной бачок, велосипед, замок в двери. Люди ставили себе уверенные оценки. Затем их просили объяснить — подробно, шаг за шагом. Потом снова оценить своё понимание. Оценки падали. Это назвали «иллюзией глубины объяснения», и с тех пор она подтверждена десятки раз — на бытовых предметах, политических программах, экономических мерах, за которые люди готовы голосовать и ссориться. Стоило попросить человека изложить механизм того, за что он яростно выступает, — и уверенность оседала, как пена.

Я начинаю с молнии, а не с Сократа, потому что Сократ делал ровно это. Только он делал это не с молниями, а с тем, за что люди готовы были убивать, — со справедливостью, мужеством, благочестием, — и в конце концов ему дали чашу с ядом. Древние Афины провели тот же эксперимент, что психологи двадцать первого века, и получили тот же результат, только с более серьёзными последствиями для экспериментатора.

Человек, который не знал

Историю все слышали, но её обычно рассказывают неправильно. Друг Сократа спросил у дельфийского оракула, есть ли кто-нибудь мудрее его. Оракул ответил: нет. Сократ, услышав это, не обрадовался, а озадачился: он-то знал, что ничего особенного не знает. И он пошёл проверять оракула — искать человека мудрее себя, чтобы предъявить его богу как опровержение.

Он пошёл к политикам — к тем, кто управлял городом и, стало быть, должен был понимать, что такое справедливость и благо. Стал расспрашивать. Выяснилось: они не понимают ничего, но убеждены, что понимают всё. Пошёл к поэтам — к тем, чьи стихи Афины знали наизусть и в которых искали мудрость. Оказалось: они сами не могут объяснить, что написали; красивое приходит к ним, минуя понимание, и они принимают своё вдохновение за знание. Пошёл к ремесленникам — и вот тут, говорит Сократ, он нашёл настоящее знание. Гончар знал, как делать горшки. Кораблестроитель знал, как строить корабли. Но случилась странная вещь: из того, что они знали своё дело, каждый делал вывод, что разбирается и во всём остальном — в политике, в воспитании, в богах. И это знание одного портило им всё прочее.

Тогда Сократ понял, что имел в виду оракул. Не то, что Сократ знает больше других. Все они — и политики, и поэты, и мастера, и он сам — не знали главного. Но они не знали и того, что не знают; а он — знал. Вот и вся разница. «Я знаю, что ничего не знаю» — это не поза скромности, как думают школьники, и не кокетство, как думают циники. Это точный отчёт о единственном преимуществе, которое у него было: он не путал мнение со знанием.

Понять, насколько это редкость, можно по тому, что за это его убили. Не за учение — у него не было учения. Не за атеизм — он был благочестив на свой лад. Его убили за метод. Он подходил к человеку на площади и задавал вопрос: «Ты говоришь, что мужество — это стойкость в бою. А если полководец отступает, чтобы выиграть, — он не мужествен? Значит,

стойкость — не всегда мужество. Тогда что такое мужество?» Человек давал второе определение. Сократ находил в нём дыру. Третье. Дыра. Через полчаса человек, который пришёл на площадь, зная, что такое мужество, — и, между прочим, будучи известным полководцем, — уходил, не зная этого. И ничего взамен не получив.

Это невыносимо. Это невыносимо и сейчас; попробуйте проделать нечто подобное с коллегой на совещании — и вы поймёте афинян. Платон сравнивал Сократа с электрическим скачком, от прикосновения которого немеет тело; сам Сократ — с оводом, который не даёт лошади задремать. Обе метафоры сходятся в одном: после встречи с Сократом невозможно остаться в прежнем состоянии — либо оцепенение, либо бессонница. Сократ не давал ответов. Он отбирал у людей то, что они считали ответами, и оставлял их наедине с вопросом.

Зачем? Потому что он был убеждён: то, что человек считает знанием, но на самом деле не владеет им, — это не пустое место. Это опухоль. Она занимает место, где могло бы вырасти настоящее знание, и не даёт ему вырасти, потому что человек не ищет того, что, как ему кажется, уже нашёл. Мнение — не нейтрально. Мнение, принятое за знание, закрывает вопрос — а закрытый вопрос не растёт. Всё, что делал Сократ, — открывал вопросы заново. Это была не разрушительная работа, а хирургическая: убрать ложное, чтобы у истинного появился шанс. Другое дело, что пациент редко бывает благодарен.

Ученик, который удивлялся

Спустя два поколения Аристотель, ученик Платона и последователь Сократа, написал фразу, которую с тех пор произносят на первой лекции любого курса философии: люди начали философствовать из удивления. Фраза стала хрестоматийной — и потому особенно важно вернуть ей остроту.

Аристотель уточняет: сначала человек удивляется близкому и странному, потом — всё более далёкому, вплоть до смены фаз Луны, движения Солнца, расположения звёзд, происхождения всего сущего. Но важнее другое. Удивление возникает не перед неведомым, а перед знакомым — в тот момент, когда привычное внезапно перестаёт быть очевидным. Никто не удивляется тому, чего никогда не видел; удивляются тому, что видели тысячу раз и вдруг перестали понимать.

Молния на куртке. Собственное лицо в зеркале, которое неизменно оказывается «моим». Или мысль, которая с трудом укладывается в голове: настоящее существует, а через сто лет меня уже не будет. Или простое действие: предмет, выпущенный из рук, падает вниз. И тогда возникает вопрос: почему именно вниз?

Дети удивляются постоянно, и это не потому, что они глупы, а потому, что у них ещё нет слов-затычек. Взрослый на вопрос «почему небо синее» говорит «потому что рассеяние света» и думает, что ответил, — хотя ответил он названием, а не пониманием, и на вопрос «а почему рассеивается именно синий» уже не ответит. Ребёнок ещё не научился принимать название за объяснение. Он и не знает, что так можно. Потом его научат. Где-то в начальной школе поток «почему» иссякает — не потому, что вопросы кончились, а потому, что ребёнок усвоил: за вопрос дают не ответ, а «отстань», а за правильный ответ — оценку. Он делает вывод, что ценность — в ответах. Это и есть момент, когда человек теряет способность удивляться и приобретает способность казаться знающим. Обмен почти всегда невыгодный.

Удивление — не сентиментальное состояние. Это, если угодно, сбой в автоматике восприятия, момент, когда привычное перестаёт проскакивать мимо и на секунду становится непрозрачным. Учёные знают это состояние лучше всех: почти каждое открытие начиналось не с «эврика», а с «странно». Флеминг увидел, что в одной из чашек с бактериями почему-то чисто вокруг пятна плесени. Тысячи людей до него выбрасывали такие чашки как испорченные. Он остановился и удивился. В этой остановке — весь пенициллин.

Между Сократом и Аристотелем есть расхождение, и оно важно. Для Сократа незнание — почти конечная точка: он снимает ложные знания слой за слоем и останавливается перед

пустотой, как перед святыней. Для Аристотеля незнание — точка отправная: удивился, признал, что не знаешь, — и вперёд, к знанию; философия начинается с удивления, но не остаётся в нём. Аристотель построил на этом самое большое здание знания, какое видел античный мир: логику, физику, биологию, этику, поэтику. Сократ не написал ни строчки. И невозможно сказать, кто из них прав, потому что правы оба — только на разных этапах одного и того же движения.

Кардинал, который дошёл до края

Через восемнадцать столетий, в 1440 году, Николай Кузанский — немец и будущий кардинал — написал книгу под названием, которое звучит как оксюморон: «Об учёном незнании». В ней — образ, который стоит сотни рассуждений.

Возьмите круг. Впишите в него многоугольник — сначала треугольник, потом квадрат, потом пятиугольник, шести-, семи-, стоугольник. С каждой новой стороной многоугольник всё ближе к кругу. С тысячей сторон он неотличим на глаз. С миллионом — неотличим даже под микроскопом. Но он никогда не станет кругом. Сколько бы сторон вы ни добавили, между многоугольником и кругом останется зазор — исчезающе малый и неустранимый. Многоугольник — это наше знание. Круг — истина. Знание растёт, приближается, уточняется — и никогда не совпадает.

Отсюда парадокс, вынесенный в название. Есть незнание невежды — он не знает и не знает, что не знает; для него всё просто. Есть незнание ученика — он знает, что не знает, и учится. И есть третье: незнание того, кто знает очень много и именно поэтому видит границу. Учёное незнание — не начало пути, а его дальний конец. Чем больше сторон у многоугольника, тем яснее видно, что он — не круг. Начинаящий физик думает, что понимает, что такое время. Физик, отдавший времени сорок лет, знает, что не понимает, — и знает это точно, с указанием, где именно кончается понимание. Его незнание больше знания начинающего — оно содержательнее, оно имеет форму.

Это замыкает идеи Сократа и Аристотеля в круг. Сократ: мудрость начинается с признания незнания. Аристотель: из незнания через удивление идут к знанию. Кузанец: знание, если оно честное, приводит обратно к незнанию — но уже к другому, обогащённому, знающему свои очертания. Мысль движется не по прямой от тьмы к свету, а по спирали, и на каждом витке «не знаю» звучит иначе — глубже.

Что мы знаем теперь и чего не знали они

Сократ работал наощупь: он видел, что люди путают мнение и знание, но не мог сказать, почему. Мы можем — и это делает его позицию не слабее, а сильнее.

Во-первых, оказалось, что уверенность — это чувство, а не вывод. Невролог Роберт Бёртон, изучавший пациентов с поражениями мозга, показал: ощущение «я это знаю» производится мозгом как отдельное состояние, примерно как голод или страх, и может возникать независимо от того, есть ли под ним основания. Бывает уверенность без знания — и бывает знание без чувства уверенности. Вы наверняка переживали и то и другое: были железно уверены — и оказались неправы; и, наоборот, дали правильный ответ, не понимая, откуда.

Чувство знания и само знание — разные вещи, произведённые разными механизмами, и первое ничего не гарантирует относительно второго. Когда Сократ говорил, что политики уверены, но не знают, он описывал именно это: у них было чувство, а не содержание.

Во-вторых, оказалось, что неуверенность мозгу физически неприятна. Психолог Ари Круглански назвал это потребностью в завершённости: открытый вопрос переживается как напряжение, и мозг стремится закрыть его как можно скорее — любым ответом, лишь бы закрыть. Причём потребность эта растёт при усталости, спешке, шуме, страхе. Именно поэтому людей так легко убедить в чём угодно, если они утомлены и напуганы: им не столько нужен правильный ответ, сколько нужно, чтобы вопрос перестал висеть. Первый попавшийся ответ снимает напряжение, и мозг награждает за него. Сократ требовал от собеседников держать

вопрос открытым дольше, чем они могли вынести, — и они ненавидели его за это. Не из-за его упрямства, а из-за физиологии. Он причинял им реальный дискомфорт.

В-третьих, оказалось, что «не знаю» — не слабость, а предсказательное преимущество. Психолог Филип Тетлок двадцать лет собирал прогнозы экспертов — политологов, экономистов, аналитиков — и сверял с тем, что произошло. Средний эксперт предсказывал будущее чуть хуже, чем случайный выбор. Но внутри выборки нашлась группа, которая стабильно предсказывала лучше всех, — и отличалась она не образованием, не доступом к информации, а стилем мышления. Эти люди говорили «не уверен», мыслили вероятностями, легко меняли мнение при новых данных и не имели одной большой теории, объясняющей всё. Тетлок назвал их «лисами» — в противоположность «ежам», которые знают одну большую вещь и подгоняют под неё мир. Ежи звучат убедительнее. Лисы — правы чаще. Телевидение зовёт ежей. Реальность вознаграждает лис.

И вот теперь главный современный вывод, ради которого стоило вспоминать Сократа. Он жил в городе, где знания было мало, и оно было дорого. Мы живём в первую эпоху в истории, когда знание — точнее, информация — стало неограниченным и почти бесплатным. Любой факт — в кармане, за секунду. И произошло то, что происходит с любым ресурсом при перепроизводстве: он обесценился, а дефицитом стало противоположное. Дефицит нашего времени — не знание. Дефицит — незнание. Уверенность стала дешёвой: её можно скопировать, получить по подписке, взять из ленты, где каждый второй пост написан тоном человека, который всё понял. Вопрос, напротив, требует усилий: нужно остановиться, выдержать неопределённость, признать пробелы — сначала перед собой — и не рассчитывать на мгновенное подкрепление.

Экономика внимания устроена так, что сомневающийся проигрывает уверенному: пост «всё сложно» не набирает просмотров. В результате мы окружены самым большим количеством уверенных людей за всю историю — и, вероятно, самым малым количеством понимающих.

Сократ в таком городе был бы ещё более неудобен, чем в Афинах. И, боюсь, ему не понадобилась бы цикута: его просто бы замолчали, не показали бы никому.

Первый зазор

Теперь я могу назвать то, о чём была вся эта глава, на языке этой книги.

Между мнением и знанием есть зазор. Мнение — это то, что у меня есть; знание — то, чем я владею: могу объяснить, воспроизвести, защитить, применить, указать границы. Мнение легко, знание тяжело. Мнений у человека тысячи, знаний — десятки. И между ними, если не следить, зазор схлопывается: мнение начинает ощущаться как знание, потому что мозг выдаёт чувство уверенности бесплатно, без проверки содержания. Молния на куртке. Политическая программа. «Я знаю, чего он хочет на самом деле». «Я знаю, что из этого выйдет». Каждое из этих «знаю» стоило бы проверить на прочность сократовским «а почему», и, скорее всего, большинство рассыпалось бы уже на первом вопросе.

Держать этот зазор открытым — значит удерживать различие между тем, что мне кажется, и тем, что я проверил. Это первая и самая базовая работа ума. И отсюда вытекает определение ума, которого не найти в тестах на интеллект.

Мы привыкли думать, что умный — это тот, у кого много ответов и они быстро приходят. Это описание не ума, а памяти и скорости; и то и другое сегодня есть у машины в куда большем объёме, чем у любого человека. Настоящее различие проходит в другом месте. Ум — это способность держать вопрос открытым без паники. Не быстро закрывать, а долго не закрывать. Не хватать первый ответ, снимающий напряжение, а выдерживать напряжение, пока не появится ответ настоящий, — или пока не станет ясно, что ответа нет и придётся жить с этим. Слово «паника» здесь не украшение. Открытый вопрос переживается как дискомфорт — об этом была речь выше, — и дискомфорт требует снятия. Умный не тот, кто этого дискомфорта не

чувствует; такого человека нет. Умный тот, кто чувствует его и всё равно не торопится закрывать вопрос первым попавшимся ответом. Это не отсутствие реакции, а власть над реакцией.

Если совсем коротко: ум — это выносливость в неопределённости.

Это переворачивает привычную картину. Оказывается, ум — не столько свойство головы, сколько свойство характера: способность терпеть дискомфорт незнания дольше, чем терпит средний человек. Не случайно Сократ мог простоять на одном месте сутки — этот случай описан в «Пире»: во время военного похода он застыл на рассвете, размышляя над чем-то, и простоял до следующего рассвета, а солдаты вынесли свои постели и смотрели на него как на диковину. Это и была его мудрость в чистом виде — не содержание мысли, о котором мы ничего не знаем, а способность не отпускать вопрос столько, сколько нужно.

Вопрос закрывают преждевременно тремя способами, и полезно знать их в лицо.

Первый — схватить ближайший ответ. Тот, что первым пришёл в голову, обычно самый привычный, а привычный — не значит верный. «Он опоздал, потому что ему наплевать». Вопрос закрыт за полсекунды; напряжение снято; отношения испорчены.

Второй — взять чужой. Ответ авторитета, большинства, интернета, нейронки. Он хорош тем, что за него не надо отвечать. Плох тем, что он не мой, и когда он подведёт, я даже не пойму, что произошло, — потому что не знал, на чём он стоял.

Третий, самый коварный, — объявить вопрос глупым. «Философия — пустая болтовня». «Какая разница, что там на самом деле». «Все так живут». Это закрытие маскируется под трезвость, а на деле оно просто не выдержало напряжения и предпочло сделать вид, что напряжения нет.

Всем трём противостоит одно движение — оставить вопрос висеть. Ответить себе «не знаю» — но не тем «не знаю», которое захлопывает дверь [«не знаю и знать не хочу»], а тем, которое её приоткрывает: «не знаю — и вот как это можно выяснить», или «не знаю — и вот что я делаю, пока не знаю». Между двумя этими «не знаю» пропасть. Первое — самое ленивое слово в языке. Второе — самое умное.

Есть простой признак, по которому можно отличить в себе мнение от знания: температура. Мнения защищают горячо, знания — спокойно. Никто не выходит из себя, доказывая, что дважды два четыре, — потому что владеет этим и ничего не потеряет, если собеседник не согласится. Ярость в споре почти всегда выдаёт, что человек защищает не знание, а чувство знания — то, что не выдержит проверки, и он смутно догадывается об этом. Наблюдение за собственной температурой в разговоре — один из самых быстрых способов найти в себе места, где зазор схлопнулся.

Самое сильное возражение

Здесь любой трезвый человек должен возразить, и я сформулирую возражение так сильно, как могу, — не для того, чтобы тут же отмахнуться, а для того, чтобы ответ держался на существе, а не на риторике.

«Всё это прекрасно на площади в Афинах. Но хирург у стола не может держать вопрос открытым — он должен резать. Родитель, у которого ребёнок горит температурой, не может сказать „я не знаю“ и удивляться. Командир, руководитель, врач — любой взрослый человек в любой день должен решать при неполной информации, и решать быстро. Ваша „выносливость в неопределённости“ — это привилегия того, кто ни за что не отвечает. Кто отвечает — обязан знать. Или хотя бы вести себя так, будто знает, иначе за ним никто не пойдёт. Сократ мог себе позволить не знать. Он был босяком без должности».

Возражение серьёзное, и половину ответа на него я оставляю до следующей главы, потому что она целиком — о том, как сомневаться, чтобы стать сильнее, а не слабее. Но одну вещь надо сказать сейчас, иначе всё вышесказанное можно понять как проповедь нерешительности.

Не знать и не действовать — совершенно разные вещи, и Сократ — лучшее тому доказательство. Не знать — значит не иметь окончательного определения, не обладать полной тео-

рией, не уметь свести всё к одной формуле. Не действовать — значит быть парализованным, неспособным к поступку. Между этими двумя состояниями нет ничего общего, и Сократ это доказал всей своей жизнью. Он был не босяк без должности, а солдат, трижды воевавший. При отступлении из-под Делия, когда афинское войско бежало, он отходил спокойно, с оружием, глядя по сторонам, так что враги предпочли его не трогать, — это описал Алкивиад, и его свидетельство не похоже на портрет человека, парализованного сомнением. Когда после битвы при Аргинусах разъярённое собрание требовало судить полководцев одним скопом, вопреки закону, Сократ — единственный из всех дежурных должностных лиц в тот день — отказался ставить это на голосование, и толпа кричала, что его надо арестовать. Когда Тридцать тиранов приказали ему привести на казнь невинного человека, он просто пошёл домой, зная, чем это может кончиться. В каждом из этих случаев он действовал в условиях полной неопределённости относительно исхода — и действовал решительно, без колебаний. Человек, который «ничего не знал», совершенно точно знал, что нельзя совершать несправедливость, и действовал, опираясь на это знание, не колеблясь, под угрозой смерти.

Как это совмещается? Очень просто: незнание относится к одному слою, а действие — к другому. Слои понятий — это область, где мы ищем окончательные определения и общие теории, где вопрос звучит как «что такое справедливость вообще?». Слои ситуаций — это область, где мы действуем здесь и сейчас, где вопрос звучит как «справедливо ли поступить так в этой ситуации?». Сократ не знал, что такое справедливость — не мог дать определения, выдерживающего все проверки, и честно держал этот вопрос открытым всю жизнь. Но он знал, что в этом случае поступить так — несправедливо, и на этот вопрос у него был ответ, за который он умер. Открытый вопрос на уровне понятий не отменяет ответа на уровне ситуации. Можно честно не знать ответа на первый вопрос и точно знать ответ на второй — это не противоречие, а разные вопросы. Хирург не знает, как в конечном счёте устроена жизнь, — и режет уверенно. Родитель не знает, что такое воспитание, — и в три часа ночи знает, что делать с температурой.

Более того — и это главное — человек, который знает, что не знает, действует лучше, а не хуже. Врач, который поставил диагноз и внутри себя пометил его как гипотезу, заметит, когда картина перестанет сходиться, и пересмотрит. Врач, который поставил диагноз как истину, будет игнорировать то, что не сходится, до самого конца — потому что для него вопроса больше нет. Оба режут одинаково решительно. Различие — в том, что происходит потом, когда реальность начинает возражать.

Ложная уверенность не корректируется — ей нечем: у неё нет зазора, в который могла бы войти новая информация. Человек, уверенный, что знает, не ищет новых данных и не замечает противоречий, потому что для него вопрос закрыт; пересмотр означал бы для него признание, что он не знал, — а это разрушило бы его картину себя. Действие при осознанном незнании остаётся открытым для поправок. Это не медленнее и не слабее. Это единственный вид действия, который способен учиться.

И насчёт «за ним никто не пойдёт». Идут за тем, кто уверен, — это правда. Но проверьте, за кем идут долго. Тетлоковские ежи звучат убедительно один сезон. Потом их прогнозы не сбываются, и они либо исчезают, либо переходят на новую уверенность, надеясь, что никто не вспомнит старую. Доверие, построенное на демонстрации знания, рушится при первой же ошибке — а ошибка неизбежна. Доверие, построенное на честном «вот что я знаю, вот чего не знаю, вот как я собираюсь действовать при этом», выдерживает ошибки, потому что было построено с их учётом: тот, кто доверяет, заранее знает, что ошибки будут, и не воспринимает их как крах. Нужно ли в момент кризиса говорить подчинённым о своих сомнениях — вопрос тактики, и ответ зависит от ситуации: иногда это подорвёт доверие, иногда, наоборот, укрепит. Но иметь сомнения внутри — не тактический, а принципиальный вопрос: без них нет способности учиться. И ответ на него — да.

Так что возражение верно в одном: незнание не освобождает от действия. Но оно и не требует освобождения. Оно требует лишь, чтобы, действуя, вы не вдали себя от того, на чём стоите. Это трудно. Но легко здесь и не обещали.

Что уносить с собой

Умный человек чаще говорит «не знаю» не потому, что знает меньше, а потому, что у него работает различение, которого у глупого нет: между тем, что кажется, и тем, что проверено.

Это различение — первый зазор, который надо научиться держать; без него все остальные тем более не удержать — все дальнейшие различения, о которых пойдёт речь в книге. Человек, принимающий свои мнения за знания, не может думать ни о мире, ни о себе, ни о других: думать ему не о чём, он всё уже знает. Мысль живёт в открытом вопросе; если вопрос закрыт, думать не о чём — остаётся лишь перебирать готовые ответы.

Удивление — это момент, когда зазор открывается: знакомое вдруг перестаёт быть понятным. Признание незнания — его удержание. Учёное незнание — то, что остаётся, когда пройдёшь путь до конца и увидишь, что круг не совпадает с многоугольником и не совпадёт никогда. Три возраста одной способности.

Эту способность можно тренировать, как любую выносливость: замечая, когда вопрос хочется захлопнуть, — и не захлопывая ещё немного. Именно этому посвящена лаборатория.

Лаборатория: инвентаризация уверенностей

Возьмите лист и выпишите десять убеждений, в которых вы не сомневаетесь. Не банальности вроде «земля круглая» — то, что имеет для вас вес: о людях, о себе, о том, как устроена жизнь, что важно, чего ждать. «Люди не меняются». «Я плохо схожусь с людьми». «В нашей стране честным путём ничего не добьёшься». «Главное в отношениях — доверие». «Я знаю, чего хочу». Вот что-то из этого. Десять штук, честно.

Теперь напротив каждого ответьте на один-единственный вопрос: откуда я это знаю?

Будьте конкретны. Не «из опыта», а из какого именно: сколько было случаев, какие, помню ли я противоположные и почему они не считаются.

Пометьте источник каждого убеждения одной буквой: В — видел сам, неоднократно, и могу привести случаи; Р — рассудил, могу воспроизвести ход мысли; С — сказал человек, которому я доверяю [кто именно? когда? на чём основывался он?]; О — так все говорят, впитал из воздуха; ? — не помню, откуда это взялось, но чувствую, что так.

Посмотрите на буквы. У большинства людей, делающих это упражнение впервые, «В» и «Р» в сумме дают меньше половины. Остальное — чужое или безродное. И это ещё не самое интересное.

Самое интересное — второй шаг. Отметьте звёздочкой те убеждения из десяти, за которые вы стали бы спорить горячо, — те, при оспаривании которых у вас поднимается температура. А теперь сравните звёздочки с буквами.

С большой вероятностью самые горячие убеждения окажутся не среди «В» и «Р», а среди «С», «О» и «?». Это закономерно: то, чем владеешь, защищать не нужно — оно и так прочно стоит; жар нужен тому, что стоит непонятно на чём. Когда вы можете сказать «я видел это двадцать раз, вот случай, вот другой», вам не нужно повышать голос: ваше знание говорит само за себя. Когда вы можете воспроизвести ход мысли — «я рассудил так и так», — вы тоже спокойны: у вас есть что предъявить. А вот когда за убеждением нет ни опыта, ни рассуждения, ни даже имени того, кто его сказал, — тогда остаётся только жар, потому что жаром можно заменить доказательство, а спокойствием — нет.

Ничего с этими убеждениями пока не делайте. Не отказывайтесь от них — они могут оказаться верными. Просто оставьте лист на виду на неделю. Вы обнаружите, что само знание источника меняет отношение: убеждение с пометкой «?» уже не может звучать в голове тем же непререкаемым тоном, каким звучало, пока было безымянным. Раньше оно приходило как

готовый факт, без паспорта; теперь вы знаете, что паспорта нет, и тон меняется сам, без усилий с вашей стороны.

Вы ничего не опровергли. Вы только открыли зазор. Этого, как правило, достаточно, чтобы через него начало что-то видеться.

Глава 2. Сомнение как скальпель, а не как болезнь

Две истории про одного человека

О Пирроне из Элиды, первом скептике, сохранились две истории. Они настолько противоречат друг другу, что стоит держать обе в уме до конца главы: не выбирая между ними, не отбрасывая ни одну, а наблюдая, как одна подсвечивает то, что другая затемняет. В их противоречии — не ошибка памяти, а ключ к пониманию того, чем скепсис может быть и чем он быть не должен.

Первая: Пиррон отвергал любые свидетельства — зрения, слуха и самого рассудка. Он учил, что подлинная суть вещей непознаваема — не потому, что вещи не существуют, а потому, что наше познание не имеет доступа к ним как к вещам самим по себе. Мы улавливаем лишь субъективную видимость, уникальную для каждого: одному сладко, другому горько, одному тепло, другому холодно, и нет способа проверить, каково это на самом деле.

Согласно легендам, философ брел по дорогам напролом, игнорируя встречные телеги, зияющие обрывы и свирепых собак. Раз природа телеги недоказуема, уступать ей дорогу бессмысленно. Верным ученикам приходилось следовать по пятам и вытаскивать мыслителя из-под копыт. Говорят, именно бдительности друзей он обязан своим девяти столетием.

Вторая: Пиррон плыл на корабле во время жестокой бури. Пассажиры метались в панике, кричали, молились, прощались друг с другом. Философ сохранял абсолютное спокойствие. В разгар шторма он указал спутникам на трюмного поросёнка, безмятежно жевавшего похлёбку. По мнению Пиррона, в этом и состоит состояние мудреца: воспринимать бурю как есть, не нагружая её смыслами, которые делают её невыносимой.

Первую историю наверняка сочинили недоброжелатели. Она отдаёт откровенной карикатурой, да и сами античные авторы признают практическую здравомысленность Пиррона: он не бросался под телеги, а жил долго и умер в глубокой старости, окружённый уважением. Вторая версия звучит правдоподобнее: он искал способ сохранять самообладание в эпицентре шторма, отбросив саму идею отрицать очевидное — то есть не спорил с бурей, а принял её как данность и работал с тем, что зависит от него.

Однако карикатура обладает собственной ценностью: в ней, как в кривом зеркале, проступает то, что в правильном отражении не видно. Она блестяще демонстрирует патологию сомнения. Шагающий под колёса безумец иллюстрирует бесконечный, лишённый цели скепсис — сомнение, которое не служит жизни, а разрушает её, потому что не признаёт ничего, кроме самого себя. Спокойный пассажир штормового корабля осознаёт полную бесполезность крика перед стихией: он не отрицает опасность, но и не позволяет ей завладеть собой. Это зрелая работа ума, решившая свою главную задачу — сохранить ясность там, где изменить ничего нельзя.

Два Пиррона воплощают разницу между скальпелем и болезнью. Инструмент и симптом выкованы из одного металла: человек ставит под вопрос очевидность, отодвигает готовый ответ, оставляет финал открытым. Эта способность — не порок и не добродетель сама по себе; она как нож: им можно резать хлеб, а можно резать по живому. Прошлая глава называла эту способность началом ума — тем, что отличает мысль от догмы. Нынешняя покажет её разрушительную силу при потере смысловых ориентиров: когда сомнение перестаёт служить чему-то и становится самоцелью, оно превращается в болезнь, разъедающую волю и парализующую действие.

Оставшееся с прошлой главы возражение било точно в цель. Хирург обязан резать. Мать — принимать решения. Взрослому человеку ежедневно приходится действовать в условиях дефицита информации. Хваленая выносливость в неопределённости легко превращается в ширму для банального страха перед выбором. Это чистая правда. Я встречал людей, обдумыв-

вающих переезд годами, застревающих в мучительных отношениях на десятилетия, взвешивающих смену работы до самой пенсии. Их колебания маскировались под интеллектуальный труд — они говорили о взвешивании, о необходимости понять, о недостатке данных. Но мысли там отсутствовали. Было лишь топтание на месте, перебирание одних и тех же доводов, бесконечное откладывание.

Эти люди уподоблялись слепцам перед летящей телегой. Только двигались они не вперёд, а прочь от опасности, используя скепсис как идеальное оправдание собственного паралича: сомнение давало им алиби, позволяло не решать и при этом чувствовать себя думающими.

Значит, необходимо чёткое разделение. Исторически оно уже существует: разные мыслители минувших эпох предлагали свои варианты — каждый со своей меркой, своим акцентом, своим ответом на вопрос, где сомнение лечит, а где калечит. Их стоит выслушать по очереди. Каждый разглядел отдельную грань, способную дополнить общую картину: один описал границы, другой — цель, третий — механизм, четвёртый — цену. Вместе они дают не готовый рецепт, а карту, по которой можно ориентироваться в собственном сомнении.

Губка Апеллеса

Настоящими скептиками были философские наследники Пиррона, который сам не оставил письменных трудов. Прежде всего — врач Секст Эмпирик, живший пятью веками позже и систематизировавший то, что его предшественники оставили в устной традиции. Именно он оставил нам точное описание их методов и целей. Вопреки школьным упрощениям, согласно которым скептики якобы утверждали, что истины нет, они избегали категоричных заявлений об отсутствии истины. Подобный тезис — «истины не существует» — сам был бы утверждением о сути вещей, то есть претензией на знание, от которой они принципиально отказывались.

Нельзя с уверенностью сказать, что истины нет, — это значило бы знать, что её нет. Их позиция звучала иначе: на каждое утверждение о сути вещей можно выдвинуть равносильный по силе аргумент в противоположную сторону. Не то чтобы оба были ложны — просто ни один не перевешивает. В условиях идеального баланса, когда ни одна сторона не имеет перевеса, честному человеку остаётся лишь воздержаться от суждений — не потому, что истина недоступна, а потому, что разум не даёт права на выбор. Такую паузу, остановку мысли перед выбором, они называли эпохё — воздержанием от суждения.

Дальнейшее развитие событий стало сюрпризом для них самих: они искали одно, а нашли другое. Секст приводит в пример живописца Апеллеса, который безуспешно пытался изобразить пену на морде коня. Художник бился над деталью, стирал краски, начинал заново, злился — и ничего не получалось. В приступе ярости он швырнул в холст губку, пропитанную пигментами. Удар оставил на холсте идеальный след пены — тот самый, которого он не мог добиться кистью.

По словам Секста, похожая участь постигла самих скептиков. Они запустили механизм сомнения ради двух целей: найти истину и обрести покой. Высшее знание осталось недостижимым — истина так и не была найдена. Однако остановка суждений, эпохе, принесла им желаемое умиротворение — оно возникло само собой, произвольно, как пятно от брошенной губки. Они не гнались за покоем — покой пришёл сам, когда они перестали гнаться за истиной. Убеждённость в том, что богатство есть благо, обрекает человека на страдания: пока он его добывает, он мучается от страха не получить; когда теряет, мучается от горя. Само богатство тут ни при чём — мучает убеждение, что оно благо. Вера в злую природу смерти порождает животный страх — не перед самой смертью, а перед тем, что она якобы есть зло. Стоит усомниться в этой оценке, и страх теряет опору. Стоит поставить эти догмы под вопрос, стереть ярлыки благо и зло — и внутренние терзания исчезают вслед за категоричностью. Не потому, что богатство или смерть изменились, а потому, что исчезла оценка, которая и порождала терзания.

Физическое недомогание или пустой желудок сохраняют свою остроту — боль остаётся болью, голод остаётся голодом, — но лишаются при этом ментальной надстройки, которая превращала дискомфорт в пытку. Страдание — это дискомфорт плюс мысль о том, что так быть не должно. Это состояние получило имя атараксии — невозмутимости, свободы от тревог. Тот самый поросёнок на палубе, который, по преданию, спокойно ел во время шторма, пока философы бледнели от страха.

Здесь необходимо признать: метод работал. Львиная доля человеческих страданий истекает не из самих обстоятельств, а из железобетонной уверенности в том, какова природа вещей и какой она должна быть. Сотрудник, ожидающий повышения, ранится не о решение начальства, а о крах собственных фантазий: он был уверен, что повышение непременно будет, что он его заслужил, что иначе и быть не может — и реальность разрушает эту уверенность, а вместе с ней и его. Твёрдая установка на определённые жизненные достижения — дом, семья, карьера к сорока годам — оборачивается кризисом сорокалетия, когда выясняется, что жизнь не обязана соответствовать нашим планам. Абсолютная убеждённость в причинах расставания — «я точно знаю, почему она ушла» — отравляет кровь, хотя при ближайшем рассмотрении это мнимое всеведение оказывается банальной иллюзией: мы никогда не знаем чужих мотивов до конца.

Достаточно подвергнуть любую установку «должно быть» искреннему допросу — а действительно ли должно? кто сказал? почему? — и внутреннее напряжение стремительно падает. Скептики первыми нащупали терапевтический эффект сомнения: оно лечит не тело, а душу, снимая груз ложной уверенности. Оно работает как анестезия против догм, которые незаметно пустили корни во всех сферах человеческой жизни — в отношениях, в работе, в самооценке, в ожиданиях от себя и других.

Подобная находка имела высокую цену, и античные философы уплатили её сполна. Их система работала исключительно на торможение: она останавливала мысль, но не двигала её вперёд. Тяге к познанию они предпочли психологический комфорт — и это был выбор, а не неизбежность. Эпохе обнуляло суждение и сворачивало любую дальнейшую работу: если воздержаться от суждения, то нечего проверять, нечего исследовать, нечего уточнять. Исследовательский азарт угасал мгновенно — подлинная реальность заранее объявлялась непознаваемой, и всякий поиск терял смысл. Скептик подчинялся обычаям, внешней видимости и природным склонностям: он жил как все, соблюдал обряды, следовал традициям, не веря в них, а просто потому, что так принято. Он утолял голод, исполнял врачебный долг, сохраняя при этом полнейшее внутреннее отстранение — он не участвовал в жизни, а лишь присутствовал при ней.

Позиция крайне удобная и практически неуязвимая: невозможно опровергнуть того, кто ничего не утверждает. Здесь же кроется главный изъян: нацеленный исключительно на душевный покой, скепсис абсолютно бесплоден. Он ничего не создаёт, ничего не открывает, ничего не улучшает. Он способен ампутировать ложную догму, но на месте ампутированного остаётся зияющая пустота — и заполнить её нечем, потому что скептик заранее отказался от любых положительных утверждений. Бросок губки подарил Апеллесу прекрасную пену, однако одними бросками шедевр создать невозможно: для этого нужно ещё уметь рисовать, работать, искать.

Комната с печью

Спустя два тысячелетия двадцатитрёхлетний наёмник баварской армии коротал зиму в баварском городке Нойбург-ан-дер-Донау. Осенью 1619 года война только разгоралась, оставляя солдату массу свободного времени. Он арендовал жильё с изразцовой печью — позже философ часто упоминал эту деталь, придавая ей особое значение, и это понятно: именно в этой тёплой комнате, отгородившись от внешнего мира, он провёл не одну неделю в размышлениях, определивших всю его дальнейшую жизнь. Сутками он предавался мыслям в тепле. В

ночь на одиннадцатое ноября юноша увидел три пророческих сна. Утром он покинул убежище с твёрдым намерением поступить со всем человеческим знанием как с ветхим зданием: снести до основания и возвести заново на монолитном, безупречном фундаменте.

Декарт присвоил античный скепсис и развернул его на сто восемьдесят градусов. Предшественники использовали этот инструмент ради торможения — чтобы остановить суждение, удержаться от утверждения, обрести покой в воздержании от любых мнений. Француз применил его для противоположной цели: не чтобы ничего не утверждать, а чтобы найти абсолютную точку опоры, на которой можно утверждать всё остальное. Интеллектуальный поиск Декарта изначально служил орудием с конкретной задачей — не самоцельным сомнением, а расчисткой места для строительства. Автор подчёркивал методическую, гиперболизированную, временную природу своего подхода, необходимого вплоть до достижения твёрдого дна. Гиперболизированную — значит преувеличенную, доведённую до предела, в который сам Декарт не верил, но который был нужен, чтобы проверить всё; временную — значит такую, которая должна закончиться, как только найдена опора.

Его радикализм не имел precedентов. Органы чувств? Они уже подводили ранее: издали башня смотрелась круглой, вблизи демонстрировала острые углы. Единожды солгавший лишается всякого кредита доверия. Хорошо, но сейчас мыслитель греется у печи в халате, это непреложный факт. Впрочем, иллюзия тепла прекрасно воспроизводится в сновидениях, лишённых надёжных маркеров отличия от реальности. Допустим, однако арифметика сохраняет свою строгость вне зависимости от состояния сознания.

Здесь Декарт совершает беспрецедентный концептуальный маневр. Что, если миром правит могущественный злой гений, бросивший все силы на обман одного конкретного человека? При сложении двойки с двойкой этот демон ловко подменяет пятёрку ложным ощущением очевидности. Подобная гипотеза имеет полное право на жизнь. Следовательно, математический фундамент тоже рассыпается. Дело не в том, что такое чудовище существует, — дело в том, что его существование логически допустимо, а значит, ни одно утверждение, включая арифметическое, не защищено от сомнения абсолютно.

Декарт вырыл самую глубокую экзистенциальную пропасть в истории мысли. Её дно абсолютно пусто: исчезает материальный мир, растворяется телесность, рушится базовая логика. Именно во мраке этой пустоты мыслитель находит искомое: пускай злой дух тотально искажает восприятие, для самого процесса заблуждения субъект обязан существовать. Нельзя обманывать того, кого нет; чтобы быть обманутым, нужно быть. Любая интеллектуальная конструкция иллюзорна, однако сам акт мышления остаётся абсолютной истиной. Попытка оспорить этот факт требует мыслительного усилия — и тем самым подтверждает его. Я мыслю — следовательно, существую. Найдя единственную монолитную точку опоры, философ начал восхождение, реконструируя Бога, материю и науку на свежем фундаменте.

Успех этой реконструкции вызывает многовековые споры. Многие исследователи признают обратный путь крайне шатким по сравнению со спуском в бездну: из «я мыслю» вывести существование Бога, а из него — существование внешнего мира и надёжность науки удаётся, по мнению критиков, лишь с натяжками, и Декарт будто бы незаметно возвращает то, что сам же запретил. Впрочем, суть кроется в другом. Рассуждая о *cogito*, стоит помнить две критически значимые детали.

Первая: радикализм Декарта имел сугубо теоретическую природу. Автор неоднократно подчёркивал дистанцию между собой и античными скептиками, упивающимися вечной нерешительностью. Его личный вектор был направлен в противоположную сторону: очистить пространство от шелухи ради обнаружения гранитной скалы. Этот метод подобен испытанию каната перед сложным восхождением. Альпинист дёргает верёвку именно в силу необходимости доверить ей свою жизнь. Проверка заняла ровно столько времени, сколько требовалось для подтверждения прочности. Лабораторный инженер, испытывающий балку на излом, бес-

конечно далёк от параноика, избегающего любых зданий из страха обрушения. Декарт выступал в роли инженера: он разрушал, чтобы строить, и сомневался, чтобы найти то, в чём сомневаться уже не придётся.

Вторая, критически важная деталь: философ заранее обустроил свой быт на период интеллектуальных раскопок. В «Рассуждении о методе» он справедливо отмечает необходимость временного крова на этапе сноса старого дома: пока идёт демонтаж, нужно где-то жить. Выходом становится концепция временной морали. Из нескольких предложенных правил одно заслуживает особого внимания. Когда истину нельзя установить с уверенностью, Декарт предлагает всё же действовать: выбрать наиболее вероятное суждение. Если же ни один вариант не кажется убедительнее остальных, нужно выбрать один и придерживаться его в практическом действии, не меняя курс из-за каждого нового сомнения. Речь не о том, чтобы объявить свой выбор истинным навсегда, а о том, чтобы не позволить неопределённости превратиться в паралич.

Эту мысль Декарт поясняет образом заблудившегося путника. Оказавшись в лесу, тот не должен метаться между направлениями, бесконечно пересматривая выбор. Разумнее выбрать направление, которое кажется наиболее вероятным; если же оснований предпочесть одно другому нет — выбрать одно и последовательно идти в нём. Декарт не обещает, что путник непременно выйдет к людям: он лишь предполагает, что движение в одном направлении может привести его в место лучше, чем бесконечное блуждание посреди леса. Выбранный курс не становится от этого истинным или гарантированно правильным. Его смысл практический: он позволяет действовать, пока нет достаточных оснований для пересмотра.

Вот ответ хирургу и матери из прошлой главы. Человек в ситуации неопределённости сохраняет обязанность действовать, даже если не располагает полной информацией. Для первого шага не требуется знать всё: достаточно выбрать обоснованный курс и начать движение. Сомнение может оставаться в уме, не лишая действие решительности; оно понадобится, если новые обстоятельства потребуют пересмотра. Интеллектуальный поиск и паралич воли — совершенно разные явления. Декарт умел разделять эти сферы: радикально сомневался в теории, но не превращал сомнение в отказ от практического действия.

Пока разум демонтировал основы мироздания, ноги исправно выполняли сезонные и географические обязанности. Заблудившийся путник, меняющий курс каждые сто шагов из-за одного лишь сомнения, рискует так и остаться на месте. Но и упрямство само по себе не добродетель: если появляются основания считать выбранное направление ошибочным, курс нужно менять. Решительность состоит не в том, чтобы идти напролом вопреки всему, а в том, чтобы не принимать каждое новое сомнение за достаточную причину остановиться. Тот, кто меняет курс при каждом сомнении, становится его пленником; тот, кто действует, пока нет достаточных оснований для пересмотра, использует сомнение как инструмент, а не как повод не двигаться.

Бильярдный шар

Спустя столетие шотландец Дэвид Юм шагнул дальше Декарта. Если француз, дойдя до дна сомнения, нащупал там твёрдую точку опоры — мыслящее «я», из которой можно было восстановить знание, — то шотландец обнаружил, что и под этой точкой нет ничего, кроме зыбкого песка. Из этой бездны он вернулся с поразительным выводом.

Юм задал принципиально иной, въедливый вопрос. Откуда берётся уверенность во взаимосвязи явлений? Допустим, катится бильярдный шар, бьёт по второму, тот приходит в движение. Разум диктует: первый толкнул второй. Однако глаза фиксируют иную картину: движение первого, момент касания, старт второго. Три последовательных события. Физическая «сила» или абстрактное «принуждение» лишены цвета, формы и визуального воплощения. Мы никогда не видим, как одно событие производит другое; мы видим только, что одно следует за другим. Сила, связь, принуждение — это не то, что мы наблюдаем, а то, что мы привно-

сим. Человек домысливает их самостоятельно в силу привычки ожидать знакомого финала. Причинность оказывается исключительно свойством человеческого ума, удобной проекцией на окружающую действительность.

Подобный вывод до сих пор лишает учёных сна. Многократное повторение опыта гарантирует ровным счётом ничего. Ежедневный восход солнца на протяжении тысячелетий совершенно не обещает завтрашнего рассвета. Наша уверенность в обратном сродни животному инстинкту — так собака мчится на кухню при звоне миски. Фундамент естествознания, прогностики и самой жизни держится на слепой вере в сходство будущего с прошлым. Эту аксиому невозможно обосновать логически или подтвердить экспериментально. Сама попытка опытного доказательства уже подразумевает использование этого недоказуемого правила.

Юмовская бездна оказалась смертоноснее декартовской — она лишена выхода. Француз нащупал монолитную опору для возрождения. Шотландец обнаружил внизу лишь банальную привычку, разрушив саму возможность подъёма. В «Трактате о человеческой природе» автор откровенно описывает приступы чёрного отчаяния. Размышления превращали его в изгоя, монстра, запертого в абсолютной изоляции и кромешной тьме.

Следом идёт невероятно человеческий философский абзац. Природа, замечает Юм, предлагает собственное лекарство от меланхолии. Мыслитель садится обедать, играет в триктрак, болтает с друзьями. Спустя пару часов искреннего веселья прежние интеллектуальные конструкции кажутся ему безжизненными, надуманными и абсурдными. Желание продолжать раскопки исчезает. Перед нами чистой воды научное открытие. Доведённый до предела скепсис упирается в глухую стену собственной нежизнеспособности. Интеллектуальное опровержение здесь излишне — человеческая психика просто отказывается существовать в подобном климате. Природа всегда бьёт принцип. Разум способен математически доказать отсутствие завтрашнего рассвета, однако живое существо продолжит ждать солнца. Такова базовая прошивка нашего мозга, изначальная архитектура сознания.

Итогом стал умеренный скептицизм — единственная, по мнению автора, здоровая жизненная стратегия. Радикальное сомнение работает подобно разовой вакцине. Переболев им, человек приобретает стойкий иммунитет к догматизму, слепой вере в собственную правоту и фанатичной нетерпимости. Однако постоянное проживание в этой стерильной зоне губительно. Требуется возвращение к рутине. Только теперь место былой самоуверенности занимает осторожность. Суждения строго ограничиваются рамками реального опыта, а память надёжно хранит знание о зыбкости самых прочных убеждений. На этом философская работа заканчивается. Дальше — триктрак.

Юм прожил счастливую жизнь всеобщего любимца и сохранил этот свет до самого финала. Набожный биограф Босуэлл навел утешающего мыслителя в расчёте узреть предсмертный ужас атеиста. Гость ушёл глубоко потрясённым. Умиравший философ сохранял абсолютное спокойствие, шутил и рассуждал о собственном скором небытии с интонацией лектора, рассказывающего о бильярдных шарах. Величайший разрушитель основ оказался самым безмятежным человеком эпохи. Именно чёткое понимание границ скепсиса обеспечило ему эту несокрушимую опору.

Чёрный лебедь

Юмовская проблема доказательства общих законов мучила умы два столетия. Речь о том, что никакое количество подтверждений не способно доказать общее утверждение: сколько бы белых лебедей мы ни увидели, это не даёт права сказать, что все лебеди белые. В двадцатом веке молодой венец Карл Поппер поступил с этой занозой как гениальный инженер с дефектом материала: он не стал делать вид, что дефекта нет, и не стал отказываться от материала — он превратил его в несущую конструкцию. То, что казалось слабостью знания, стало его опорой.

Поппер безоговорочно поддержал шотландца. Бесчисленное множество белых птиц абсолютно ничего не говорит о природе всего вида — оно не приближает нас к всеобщему закону,

а лишь оставляет его не опровергнутым. Австралийская популяция чёрных лебедей блестяще подтвердила этот тезис: достаточно было одной встречи с чёрным лебедем, чтобы утверждение «все лебеди белые» рухнуло.

Однако венец обнаружил ранее незамеченную асимметрию. Миллион совпадений пасует перед единственным исключением. Опровержение обладает абсолютной властью: оно не ослабляет теорию, а уничтожает её в том виде, в каком она была заявлена. Следовательно, эволюция знания движется иным путём. Бессмысленный сбор подтверждений уступает место смелым гипотезам и безжалостным попыткам их уничтожить. Выжившая под перекрёстным огнём теория сохраняет статус догадки — она не становится доказанной истиной, но становится лучшим из того, что у нас есть. Разница кроется в жесточайшем естественном отборе: выживают не те теории, которые все подтверждают, а те, которые никто не смог опровергнуть, несмотря на все старания.

Согласно Попперу, весь массив человеческого знания носит временный, проверенный боем характер. Это обоснованное, выверенное предположение — не догма, а рабочая гипотеза, которая держится до тех пор, пока не найдётся чёрный лебедь.

Новый критерий навсегда изменил облик науки. Подтвердить при желании можно любую фантазию — для этого достаточно быть изобретательным в объяснениях. Подлинная научность требует принципиальной опровержимости. Истинная теория обязана запрещать определённые исходы, рисковать репутацией, подставлять уязвимые места: она должна говорить не только то, что бывает, но и то, чего быть не может. В юности Поппера поразило одно сравнение. Эйнштейн вычислил угол отклонения звёздного света вблизи Солнца. В 1919 году экспедиция Эддингтона отправилась проверять эту гипотезу во время затмения. Отрицательный результат означал бы мгновенный крах всей концепции, о чём прямо заявлял сам автор: теория заранее назвала условие, при котором она неверна.

По соседству процветали марксизм, психоанализ и учение Адлера. Эти системы обладали пугающей универсальностью. Любое событие идеально вписывалось в их рамки. Героическое спасение тонущего ребёнка трактовалось как гиперкомпенсация комплекса неполноценности. Убийство того же ребёнка объяснялось тем же комплексом в форме агрессии. Поппер интуитивно чувствовал фатальную уязвимость этой всеобъясняющей магии. Неуязвимая концепция, совместимая с абсолютно любой реальностью, полностью лишена информативности: она ничего не исключает, а значит, ничего не сообщает о мире.

Скепсис впервые эволюционирует из экзистенциальной угрозы в главный двигатель прогресса. Античные философы искали покоя, Декарт копал до твёрдого грунта, Юм добивался кристальной честности. Поппер превратил сомнение в единственный механизм роста. Настоящий учёный атакует собственную теорию изо всех сил. Он маниакально выслеживает чёрного лебедя, конструирует убийственные эксперименты. Ценность идеи измеряется исключительно её выживаемостью. Сомнение становится кровеносной системой знания, его базовым метаболизмом. Лишённый скепсиса разум теряет способность к обучению, закрывая двери для целительных ошибок: ошибка — не позор, а единственный способ узнать, что мы ошибались.

Крайне важна строгая форма попперовского подхода. Аморфные подозрения уступают место чёткому алгоритму: поиск критического условия и немедленная проверка. Инструмент обладает точными координатами и ясными критериями отключения. Вместо абстрактных степаний о познаваемости мира звучит прагматичный вопрос: какие факты заставят меня передумать? Наличие ответа гарантирует жизнеспособность процесса. Неспособность назвать опровергающий фактор мгновенно превращает интеллектуальный поиск в слепую религиозную веру, обильно задрапированную научной терминологией.

Четверо и одна нить

Четыре мыслителя, разделённые тысячелетиями. Между ними — пропасти времени, языков, культур и задач, и всё же четыре уникальных подхода объединяет одна ускользающая

деталь, которую легко не заметить, если рассматривать их учения по отдельности. Каждый использовал сомнение ради конкретной цели — не как самоцель, не как позу, не как способ прослыть глубокомысленным, а как инструмент, который нужен для чего-то, лежащего по ту сторону сомнения.

Пиррон жаждал покоя и замирал при его достижении: сомнение было для него лестницей к атараксии, и, взойдя на неё, он не продолжал сомневаться, а умолкал. Декарт искал монолитный фундамент и сворачивал поиски сразу после успешной находки: ему нужна была не бесконечная ревизия всего, а точка опоры, от которой можно строить. Юм добивался честности и тормозил перед обрывом жизнеотрицания, признавая главенство биологической природы над логикой: он видел, что последовательный скепсис, доведённый до конца, разрушает не только догмы, но и саму возможность жить, и отступал, потому что жить всё-таки нужно. Поппер работал ради эволюции смысла, снабдив свой инструмент точным навигатором и чёткими границами применимости: сомнение у него знает, где оно уместно и где кончается, и потому не превращается в разрушение знания, а служит его росту.

Эти люди отвергали бесцельный скепсис. Для них он оставался сугубо прикладным навыком, лишённым ореола философской глубины или интеллектуального превосходства. Они не гордились сомнением и не выставляли его напоказ; они пользовались им, как пользуются рабочим инструментом, — и, когда работа была сделана, убирали его. Мыслители владели им на манер хирурга со скальпелем. Точный надрез, выверенное место, конкретная задача — и немедленное возвращение инструмента на полку. Скальпель не оставляют в ране; сомнение не должно оставаться в решении дольше, чем нужно, чтобы решение стало возможным.

Именно прикладной характер отделяет здоровое мышление от его патологической копии: здоровое сомнение имеет цель и конец, а больное не имеет ни того, ни другого и потому бесконечно воспроизводит себя, притворяясь мыслью. Дальнейший текст препарирует современного двойника этого недуга, обретшего сегодня пугающую убедительность: он говорит на языке сомнения, но служит не знанию и не действию, а отказу от них.

Две болезни одного века

Первая глава исследовала феномен догматика, стирающего границу между мнением и знанием. Его ментальное пространство лишено зазора между гипотезой и доказанным фактом — того самого зазора, в котором только и возможна мысль, потому что мысль есть движение через неизвестное, а не обладание готовым ответом. Любая собственная мысль автоматически наделяется статусом абсолютной истины, полностью парализуя дальнейший когнитивный процесс: думать больше не о чем, думать больше не нужно, ответ уже дан и не подлежит пересмотру. Шумная, категоричная природа делает таких людей максимально заметными: они слышны издали, они занимают пространство, они не оставляют места для возражений.

Распознать их зеркального близнеца куда сложнее — он виртуозно мимикрирует под интеллектуала, и маска его сделана из того, что мы привыкли ценить: из сомнения, из иронии, из отказа от простых ответов.

Речь идет о современном воплощении циника, подвергающем сомнению абсолютно все. Политика для него всегда лжива, любовь корыстна, наука продажна. Любой поступок продиктован личной выгодой, а убеждения лишены малейшей ценности. Искренность оппонента вызывает у него лишь усталую полуулыбку повидавшего жизнь мудреца — ту самую полуулыбку, которой он дает понять, что ему известен настоящий мотив, а наивный собеседник еще не дорос до понимания. Его броня непробиваема: отказ от привязанностей гарантирует отсутствие разочарований, а избегание утверждений спасает от ошибок.

Внешне эта поза излучает силу — и действительно, человек, который ничего не ждет, ничего не теряет, не может быть ранен. Обжегшиеся на первом доверии люди часто путают подобную анестезию с подлинной зрелостью: им кажется, что перед ними тот, кто прошел через боль и вышел из нее мудрым, тогда как перед ними — тот, кто вышел из нее онемевшим.

Однако механизм ментального схлопывания здесь идентичен. Догматик приравнял личные фантазии к фактам. Циник, в свою очередь, обесценил любые факты, низведя их до уровня субъективных фантазий. Дистанция между гипотезой и проверкой исчезла — та дистанция, которая и делает возможным знание, потому что знание есть путь, а не обладание. Процесс верификации признан принципиально недостижимым и лишенным смысла: зачем проверять, если все равно все лгут? Освобождение от интеллектуального труда подается под изысканным соусом всезнания. Детальный разбор политических программ заменяется аксиомой об их одинаковой порочности — и цинику не нужно ничего читать, изучать, сравнивать, потому что ответ известен заранее и ответ этот — «все плохо».

Изучение научных данных разбивается о тезис о продажности исследователей — и цинику не нужно разбираться в методологии, в статистике, в устройстве научного сообщества, потому что он уже знает главное: за деньги скажут что угодно. Анализ чужой искренности блокируется убежденностью во всеобщей лживости — и цинику не нужно вникать в чужую душу, потому что души, по его мнению, устроены одинаково и устроены низко. Каждое обобщение действует как бетонная плита, наглухо закрывающая вопрос: после нее нечего обсуждать, нечего исследовать, нечего проверять. Циник цементирует пространство с тем же усердием, что и догматик. Только вместо ярлыка абсолютная истина он вешает табличку все относительно, сохраняя ту же железобетонную безапелляционность. Содержание ярлыка изменилось — его функция осталась прежней: закрыть вопрос, поставить точку, исключить возможность дальнейшего движения мысли.

Имитация поиска скрывает жесточайшую догму. Тезис о невозможности познания становится для циника объектом слепого поклонения — он верит в него так, как верующий верит в святыню, не допуская ни тени сомнения. Установка о тотальной лжи принимается на веру без малейших попыток верификации — и в этом весь парадокс: человек, требующий доказательств от всех, не требует их от себя. Собственный скепсис превращается в священную, неприкосновенную корову: его нельзя оспаривать, его нельзя проверять, его нельзя применять к самому себе. Античные мыслители сохраняли последовательность, применяя метод остановки суждений к собственному учению. Пиррон не утверждал, что знание невозможно, — он воздерживался от суждения и об этом тоже; его скепсис был честен, потому что включал самого себя. Они предлагали свои концепции исключительно в качестве субъективного видения, не претендуя на обладание последней истиной.

Современный циник напрочь лишен подобной честности: он изымает собственный скепсис из-под удара, объявляет его неприкосновенным и тем самым превращает в догму. Его абсолютная вера в невозможность уверенности делает его самым фанатичным сектантом в любой дискуссии — сектантом неверия, фанатиком несогласия, догматиком наизнанку.

Главный изъян этой позиции лежит сугубо в этической плоскости. Юм распознал бы эту червоточину мгновенно: он, показавший, что разум есть и должен быть рабом аффектов, знал, что отказ от всех убеждений не есть нейтральная позиция, а есть выбор с последствиями. Отказ от убеждений гарантирует полное освобождение от ответственности — потому что ответственность возникает только там, где есть выбор, а циник упразднил выбор, объявив все варианты одинаковыми.

Игнорирование выборов маскируется одинаковостью кандидатов: зачем идти на выборы, если все политики — одна шайка? Бездействие при несправедливости оправдывается фатализмом: зачем сопротивляться, если все предопределено? Холодность к окружающим выдается за защиту от наивности: зачем открываться, если все равно обманут? Отказ от созидания объясняется бессмысленностью усилий: зачем строить, если все разрушится? Скепсис мутирует в идеальное алиби — философское оправдание для бездействия, равнодушия, предательства. Учение Пиррона растворяло догмы; современный цинизм аннигилирует обязательства и саму человеческую суть. Остается лишь бесплотный наблюдатель, постигший тщетность бытия и

сложивший полномочия: он смотрит, но не участвует; он знает, но не действует; он свободен, но эта свобода — свобода призрака. Это максимально комфортная, тепличная позиция: она ничего не требует, ничем не рискует, ничего не теряет.

Падение в эту яму происходит незаметно, а путь вверх требует колоссальных усилий. Возвращение в реальный мир означает риск ошибки и неизбежность расплаты за каждый шаг — но только там, в этом риске, и происходит жизнь.

Сомнение, сорвавшееся с цепи

Есть и третья форма, которая на первый взгляд выглядит противоположной цинизму, а по устройству — та же болезнь в острой фазе. Это то, что принято называть конспирологическим мышлением, и я хочу разобрать его внимательно, потому что оно паразитирует на самом здоровом инстинкте, какой есть у ума. Паразитирует — значит живёт за его счёт, питается его силой и носит его одежду. Именно поэтому его так трудно распознать: оно приходит не под своим именем и первым делом объявляет себя именно тем, чем не является.

Инстинкт этот — не верить на слово. Спросить «а откуда вы знаете?». Заметить, что у официальной версии есть несостыковки, что у говорящего есть интерес, что консенсус бывал неправ. Всё это — законные движения мысли; без них нет ни науки, ни журналистики, ни свободного человека. Это не подозрительность и не роскошь, а основание, на котором стоит всё, что мы знаем: каждое знание когда-то было чьим-то сомнением, которое проверили и подтвердили, и каждое убеждение, которого мы не проверяли сами, мы принимаем на веру — просто потому, что нам его кто-то сообщил.

Без этого инстинкта мы бы до сих пор повторяли то, что говорят власть, традиция или большинство, и называли бы это знанием. Конспиролог начинает именно с этих законных движений — и потому чувствует себя критически мыслящим, и потому его так трудно переубедить: он уверен, что он-то как раз и есть Сократ, а вы — афинский политик, повторяющий мнения. Он не замечает, что прошёл лишь первую половину пути. Усомниться — да; но усомниться симметрично, применить ту же мерку к себе, к своему источнику, к своей догадке — этого он не делает, и именно здесь кончается критическое мышление и начинается то, что лишь надело его маску.

Посмотрите, куда направлено его сомнение. К официальной версии оно применяется с бесконечной строгостью: любая неточность в отчёте — доказательство подлога, любое совпадение — улика, любое отсутствие данных — сокрытие. К альтернативной версии оно не применяется вовсе: анонимный ролик, чья-то догадка, цепочка «а вам не кажется странным» принимаются с готовностью, с которой ребёнок принимает сказку. Сомнение стало асимметричным. Оно работает только в одну сторону — против того, что человек и так не хотел принимать, — и отключается перед тем, что он хочет. В этом и главный признак: настоящее сомнение не имеет любимой стороны. Оно как весы, а не как молоток; оно проверяет все версии одной меркой, и если версия кажется ему убедительной, оно ищет, чем её опровергнуть, а если неудобной — ищет, чем её подтвердить.

А сомнение, у которого есть любимая сторона, — не сомнение; это вера, надевшая очки скептика. Оно не ищет истину, оно ищет подтверждение тому, во что уже решило верить, и скептический инструмент ему нужен лишь для того, чтобы придать этой вере вид доказанного знания.

Есть простой тест, который Поппер вложил нам в руки: спросите такого человека, что могло бы его переубедить. Какое доказательство, какой документ, какое событие заставило бы его сказать: «я ошибался, никакого заговора нет». В подавляющем большинстве случаев ответа не будет — или будет ответ, из которого ясно, что любое доказательство будет истолковано как ещё более глубокий заговор: опровержение подстроено, документ фальшивый, свидетель куплен. Теория, которую нельзя опровергнуть никаким мыслимым событием, — вспомните Адлера — не говорит о мире ничего. Она говорит только о том, что человеку с ней спокойнее, и

здесь конспиролог неожиданно встречается с Пирроном: он тоже искал атараксии и тоже нашёл её через готовность ничего не принимать, — только, в отличие от Пиррона, он не остановился на «не знаю», а заполнил пустоту первым, что пришло, и назвал это прозрением.

Пиррон, античный скептик, видел покой в том, чтобы воздерживаться от суждения; конспиролог видит покой в том, чтобы суждение иметь — но такое, которое нельзя ни проверить, ни опровергнуть и которое поэтому никогда не будет потревожено. Разница огромная, а результат один: ум, закрытый для мира. Только у Пиррона он закрыт честно, а у конспиролога — под замком, который выставлен как открытость.

Интернет не создал этого — люди верили в тайные общества и отравленные колодцы задолго до него, — но он изменил экономику. Сомнение стало бесплатным: любое утверждение можно поставить под вопрос одним движением пальца, не неся никаких издержек — ни репутационных, ни временных, ни умственных. Раньше, чтобы усомниться вслух, нужно было что-то знать, что-то проверить, чем-то рискнуть; теперь достаточно нажать кнопку. И одновременно оно стало прибыльным: «вам врут» собирает больше внимания, чем «всё сложно, и в целом официальная картина верна с оговорками», — по той же причине, по какой в первой главе уверенность оказалась дешевле вопроса. В результате возникла среда, где имитация сомнения вознаграждается, а настоящее сомнение — медленное, симметричное, знающее свои условия завершения — не имеет никаких шансов быть замеченным.

Настоящее сомнение требует времени, которого у внимания нет, и скромности, которой у говорящего нет; имитация же требует одного — готовности объявить всех лжецами, и это окупается немедленно.

Есть и более тёмная сторона, о которой стоит знать, чтобы узнавать её. Сомнение можно производить намеренно. В 1969 году во внутренней записке табачной компании Brown & Williamson была сформулирована стратегия, которая с тех пор стала классикой: «Сомнение — наш продукт, поскольку это лучшее средство борьбы с совокупностью фактов, существующих в сознании широкой публики». Им не нужно было доказывать, что курение безвредно, — это было невозможно. Им нужно было создать достаточно сомнения, чтобы никто не действовал: ни законодатель, ни врач, ни курильщик. «Наука ещё не сказала окончательно». «Есть исследования, показывающие обратное». «Нужны дополнительные данные». Каждая из этих фраз по отдельности звучит как честная осторожность; в сумме они были инструментом, который стоил миллионов жизней.

Ту же схему потом применяли к кислотным дождям, озоновой дыре, климату, и она работает до сих пор, потому что бьёт в самое уязвимое место разумного человека: в его нежелание быть догматиком. Разумный человек знает, что знание всегда неполно, что уверенность бывает преждевременной, что наука ошибалась и будет ошибаться, — и на этом его можно поймать: потребовать от него абсолютной уверенности, которой наука не даёт и не может дать, и объявить отсутствие абсолютной уверенности отсутствием знания вообще. Это подмена, но подмена, на которую разумный человек попадаете легче, чем глупый, потому что глупому не страшно быть догматиком.

Разумный человек знает, что наука не даёт стопроцентной уверенности, — и его можно парализовать, потребовав именно её. Это сомнение, у которого цель — не лучшее знание и не лучшее действие, а отсутствие действия. Оно устроено как скальпель, а работает как яд, и отличить одно от другого можно только по одному признаку: чему оно служит. Скальпель служит операции — тому, чтобы что-то изменить к лучшему; яд служит тому, чтобы ничего не менялось. И потому главный вопрос, который надо задать любому сомнению — своему и чужому, — не «насколько оно строго?» и не «насколько оно глубоко?», а «куда оно ведёт?». Если к действию или к знанию — оно своё, оно здоровое, оно работает на вас. Если никуда — оно работает против вас, даже когда кажется, что работает на истину.

Правило скальпеля

Теперь можно сформулировать то, ради чего всё это разбиралось.

Сомнение оправдано только тогда, когда оно ведёт к лучшему действию или к лучшему знанию. Сомнение, которое не ведёт ни к тому, ни к другому, — не мысль, а её имитация: состояние, которое выглядит как мышление изнутри и почти неотличимо от него снаружи, но не производит ничего, кроме самого себя, — то есть кроме новых сомнений того же рода.

Это правило нужно понять точно, потому что его легко понять неточно. Оно не говорит, что сомневаться надо мало. Оно не говорит, что сомневаться надо только в удобном. Оно говорит, что у сомнения, как у любого инструмента, есть назначение — работа, которую оно выполняет, — и что сомнение, оторванное от этого назначения, перестаёт быть инструментом: как скальпель, которым не оперируют, а просто водят по коже, становится не хирургией, а членовредительством.

Лучшее знание — это когда сомнение открывает вопрос, который можно исследовать, и исследование действительно даёт на него ответ: Декарт, Поппер, любой учёный, любой человек, который сказал «а точно ли?» — и пошёл проверять. Лучшее действие — это когда сомнение заставляет отбросить привычный ход, увидеть вариант, которого не было, или остановить поступок, о котором пожалел бы: те самые полсекунды из пролога. В обоих случаях сомнение — движение с направлением: оно откуда-то уходит и куда-то приходит, и, придя, прекращается — не потому, что задавлено, а потому, что сделало своё и стало ненужным.

Сомнение-болезнь узнаётся по отсутствию направления. Оно никуда не приходит, потому что никуда не идёт; оно кружит, не имея ни вектора, ни цели, к которой могло бы двигаться. Заблудившийся у Декарта, который меняет направление каждые сто шагов, не ближе к выходу из леса, чем стоящий на месте, — но ему кажется, что он ищет. Человек, сомневающийся в переезде восемь лет, каждый год заново перебирает те же доводы за и против и каждый год приходит к тому же «не знаю» — и ему кажется, что он думает. Он не думает. Думать — значит двигаться; он перебирает уже перебранное, топчется на месте, но само это топтание принимает за движение мысли.

Отсюда различие, которое я считаю центральным для этой главы и, пожалуй, для всей практической жизни ума: между «сомневаюсь в этом» и «сомневаюсь во всём» — такая же разница, как между операцией и самоубийством. Хирург удаляет определённую ткань — на фоне того, что всё остальное тело продолжает жить. И именно потому, что остальное живёт, операция возможна и осмысленна. Вырезать всё — не более радикальная операция, а нечто принципиально другое: конец того, ради чего оперировали. Так и с сомнением. Усомниться в конкретном убеждении можно только стоя на других — на языке, которым формулируешь сомнение; на логике, по которой оцениваешь доводы; на памяти о том, что ты думал минуту назад; на тысяче не оспариваемых сейчас вещей. Все они в этот момент остаются непоколебленными — иначе сомневаться было бы нечем и не о чем.

Даже Декарт в своём подвале сомнения стоял на всём этом, иначе не смог бы написать ни строчки. Философ Отто Нейрат дал этому лучший образ: мы как моряки, которым приходится перестраивать корабль в открытом море, не имея возможности поставить его в док, разобрать до последней доски и построить заново из лучших материалов; мы вынимаем одну доску и ставим новую, стоя на остальных, — и никогда не можем вынуть все сразу. Кто попытается — утонет. Не станет чище, честнее и глубже, а просто утонет, и его сомнение никуда его не приведёт по той причине, что ему уже некуда будет приходиться: того, кто сомневается, больше не будет.

«Сомневаюсь во всём» звучит как высшая степень «сомневаюсь в этом», но это не степень, а другой род занятий. Первое — работа, у которой есть место, предмет и результат. Второе — состояние, у которого нет ни того, ни другого, ни третьего, и которое живёт за счёт того, что маскируется под первое, выдаёт себя за работу мысли. Честертон сказал об этом лучше всех: смысл открытого ума — тот же, что и у открытого рта: его открывают, чтобы закрыть на

чём-то твёрдом. Рот, который держат открытым всегда, не признак широты взглядов, а признак того, что человек забыл, зачем он вообще открывается.

Маска на лице страха

Осталось сказать о самой распространённой форме сомнения-болезни — той, что не имеет отношения ни к политике, ни к науке, а живёт в каждой второй жизни и портит её тихо, без огласки. Это сомнение, в котором человек не может решиться.

Уходить или оставаться. Менять или беречь. Говорить или молчать. Начинать или не начинать. Человек говорит: «я ещё не уверен», «я взвешиваю», «мне нужно понять» — и произносит это годами; слова эти настолько похожи на слова думающего человека, что он и сам в них верит. Но здесь надо задать вопрос, который почти никто себе не задаёт: чего именно я не знаю? Какая информация мне нужна, чтобы решить, и где она? Можно ли её получить? Если можно — почему за все эти годы я её не получил?

В большинстве случаев честный ответ таков: информации, которая решила бы вопрос, не существует и не может существовать, потому что решение зависит не от фактов, а от готовности принять последствия. Никакие данные не скажут, надо ли уходить с работы, — они скажут, каковы риски; а готовность к риску — не факт, а выбор. И тогда обнаруживается, что человек сомневался не в том, о чём говорил. Он сомневался в своей способности вынести исход, и это сомнение надело маску незнания, потому что «я не знаю» звучит достойнее, чем «я боюсь». Страх — эмоция, за неё стыдно; незнание — интеллектуальная добродетель, за неё хвалят. Обмен выгодный, и мы совершаем его, не замечая.

Отличить одно от другого можно по признаку, который выводится прямо из Поппера. Настоящее сомнение, как научный поиск, заинтересовано в том, чтобы быть разрешённым: у него есть аппетит к информации, оно ищет её и успокаивается, когда она приходит. У страха в маске сомнения аппетита нет — есть отвращение: оно отклоняет любую информацию как недостаточную и производит новые вопросы быстрее, чем на старые успевают ответить. Вы говорите ему: вот люди, которые уехали, спроси их, — оно отвечает: у них другая ситуация. Вы говорите: попробуй на месяц, — оно отвечает: месяц ничего не покажет. Вы говорите: вот цифры, — оно отвечает: цифры не главное. Оно не хочет знать, потому что знание отнимет у него право не решать. Настоящее сомнение ищет выход из леса; страх ищет причины остаться на опушке и называет их размышлением.

То же самое — с сомнением в себе, самой интимной разновидностью. «Достаточно ли я хорош», «получится ли у меня», «имею ли я право» — вопросы, у которых есть две совершенно разные судьбы. Одна: сомнение ведёт к подготовке — человек учится, пробует, спрашивает, и сомнение уменьшается по мере того, как растёт умение. Это скальпель, и такое сомнение — почти синоним добросовестности; людей, не способных к нему, мы боимся не зря. Другая: сомнение ведёт к тому, что человек не приходит, не пробует, не подаёт заявку, не поднимает руку, — и сомнение не уменьшается никогда, потому что умение не растёт, потому что нет попыток, потому что есть сомнение. Круг замкнут, и внутри него человек чувствует себя скромным. Скромность ни при чём. Он просто нашёл способ никогда не проиграть, и способ этот — никогда не играть. Проверить, какое из двух сомнений перед вами, можно всё тем же вопросом: что могло бы его снять? Если ответ есть — «сдать экзамен», «получить отзыв», «сделать три раза» — и человек к этому движется, сомнение здоровое. Если ответа нет — если никакой успех не убедит, что «я могу», потому что успех будет объявлен случайностью, — перед вами не сомнение, а укрытие.

Есть ещё одна вещь, которую надо понять о решениях при неполном знании, и её понял ещё Декарт со своим путником. Порог, необходимый для уверенности, и порог, необходимый для действия, — это разные пороги, и требовать, чтобы для действия было столько же оснований, сколько для уверенности, — ошибка, а не строгость. Декарт сравнивал положение человека, принимающего решение при неполном знании, с положением путника, заблудившегося

в лесу: если ждать полной уверенности в том, какая дорога верна, можно никогда не выйти; нужно выбрать направление и идти как можно прямее.

Право додумалось до этого раньше философии: присяжным велят выносить приговор не при отсутствии всяких сомнений — такого не бывает, — а при отсутствии разумных сомнений, потому что иначе ни один суд не вынес бы ни одного приговора, и это было бы не торжество осторожности, а отказ от правосудия. Врач начинает лечение при вероятности диагноза, дальнейшей от ста процентов, потому что ждать ста процентов — значит дать болезни время.

Уильям Джеймс, американский философ, добавил к этому решающее соображение: есть выборы, в которых не выбирать — тоже выбор, и притом худший. Если вы не решили, доверять ли человеку, вы уже ему не доверяете; если не решили, начинать ли дело, оно уже не начато; если откладываете решение о переезде до полной ясности, вы уже остались — только без того, чтобы это выбрать, и без права сказать себе, что остались по своей воле. Отложенное решение — не отсутствие решения, а решение, принятое трусливо: с тем же исходом, что и отказ, но без ответственности за него.

И потому у правила скальпеля есть практическое продолжение. Когда информация, доступная за разумное время, собрана, а сомнение не унимается, — оно уже не о мире. Оно о вас. И лечить его нужно не сбором новых данных, которые оно отвергнет, а поступком — тем самым, о котором говорил Декарт: выбрать направление и пойти прямо, оставив сомнение там, где ему место, в голове, и не пустив его в ноги. Не потому, что направление наверняка верное. Потому что идти — единственный способ узнать, куда оно ведёт, а стоять — единственный способ не узнать ничего.

Самое сильное возражение

Здесь честный собеседник должен возмутиться, и я хочу дать ему высказаться в полную силу — не для того, чтобы тут же отмахнуться от него, а для того, чтобы возражение прозвучало целиком, без ослаблений, и чтобы ответ держался не на риторике, а на существе.

«Ваше правило — прагматическое, — скажет он. — Сомнение оправдано, если полезно: ведёт к лучшему действию или знанию. Но истина — не полезность. Есть сомнения, которые верны и при этом бесполезны, и честный человек обязан сомневаться там, где есть основания, независимо от того, помогает ли это ему жить. Вы подчиняете истину действию — а именно так люди и оправдывают удобные убеждения: "это сомнение мне ничего не даёт, значит, отброшу". Декарт не спрашивал, полезна ли гипотеза о злом духе, — он спрашивал, можно ли её исключить. Юм не бросил проблему причинности потому, что от неё портилось настроение; он честно довёл её до конца и признал, что она неразрешима. И кто, собственно, решает, что такое «лучшее действие»?

Сомнение в выбранной вами карьере может быть самой верной мыслью вашей жизни — а вы по вашему правилу объявите его страхом в маске и задавите. Ваш скальпель удобен тем, что режет только там, где хочется. Под видом гигиены ума вы продаёте нам то же старое лекарство: не думай о том, что тревожит, — и тревога пройдёт. Только у вас оно завернуто в философскую бумагу».

Возражение попадает в цель, и я не буду делать вид, что оно от меня отскакивает. Ответу в три шага.

Во-первых, в правиле два члена, а не один, и критик прочёл только первый. Сомнение оправдано, если ведёт к лучшему действию или к лучшему знанию. Знанию — включая знание неприятное, неудобное, разрушающее покой, отнимающее у жизни привычные опоры. Второй член — не приложение к первому, не уступка, которую можно не заметить; он равноправен и равнообязателен. Сомнение Юма привело к лучшему знанию — к пониманию, что причинность есть привычка и что все наши ожидания стоят на недоказуемом допущении; это знание сделало его жизнь честнее, пусть и неудобнее, и потому его сомнение по этому правилу оправдано целиком.

Гипотеза злого духа привела Декарта к *cogito* — она была этапом на его пути, а потому имела право на существование. Декарт не остановился на ней, не сделал из неё мировоззрение: он прошёл через неё, как проходят через тёмную комнату, чтобы найти выключатель. Его правило запрещает пустое сомнение — то, которое не производит ни знания, ни поступка, а лишь гоняет один и тот же вопрос по кругу, возобновляя само себя. Юм, бесконечно повторяющий себе, что причинности нет, и не пишущий об этом ни строчки, не выводящий отсюда ничего ни для философии, ни для жизни, — вот это было бы сомнение-болезнь. Юм, доведший вопрос до дна, записавший найденное и вернувшийся к триктраку, — сомнение-скальпель. Один и тот же вопрос, два разных употребления: в первом случае он служит топливом для бесконечного внутреннего прокручивания, во втором — работой, у которой есть начало, середина и конец.

Во-вторых — и это важнее — правило режет в обе стороны, и критик заметил только одну. Оно запрещает сомневаться впустую; оно же запрещает отбрасывать сомнение, которое могло бы дать знание. Человек, который говорит себе «это сомнение меня расстраивает, значит, оно ложное», нарушает правило точно так же, как тот, кто сомневается без цели: он закрывает вопрос до того, как вопрос произвёл то, что мог. Это ход догматика, а не хирурга: догматик тоже торопится закрыть вопрос, только закрывает его в другую сторону — не бесконечным сомнением, а поспешной уверенностью. Скальпель, который откладывают потому, что резать больно, — такая же измена инструменту, как скальпель, которым водят по коже без цели.

Правило говорит: сомневайся там, где сомнение работает, — и не увличай от работы, потому что она тяжёлая. Сомнение в карьере, которое человек давит, потому что оно мешает спать, — не менее больной случай, чем сомнение в карьере, которым он кружит десять лет; и правило одинаково осуждает оба. Разница лишь в том, куда направлен обман: в первом случае человек обманывает себя, делая вид, что вопроса нет; во втором — делая вид, что вопрос всё ещё требует решения, хотя решение уже созрело и только ждёт смелости.

В-третьих — про «кто решает». Здесь у меня есть не арбитр, который стоял бы над человеком и выносил вердикт, а тест, который доступен каждому, кто согласен применить его к себе честно. Тест — на условие завершения. У живого сомнения всегда можно спросить: что его сняло бы? — и получить ответ: вот факт, вот опыт, вот разговор, вот попытки, после которых я буду знать. Настоящее сомнение потому и настоящее, что оно способно представить собственное завершение; оно знает, чего ждёт, и потому может это искать. Сомнение в карьере, о котором говорит критик, легко проходит этот тест, если оно настоящее: его снимет месяц другого занятия, разговор с теми, кто ушёл, честный подсчёт того, что я делаю за день и хочу ли делать это ещё двадцать лет. И если человек идёт на эти проверки — сомнение подлинное, и правило велит за ним следовать, куда бы оно ни вело, хоть к увольнению; честность обязывает довести дело до конца, даже если конец окажется болезненным.

Если же он не идёт — если каждая предложенная проверка отвергается как недостаточная, и вопрос висит годами, не сдвигаясь, — то это сомнение о карьере лишь по названию. На деле это состояние человека, которое использует карьеру как предлог, и лечится оно честностью о себе, а не размышлением о карьере. Тест показывает, какое из двух сомнений о чём: одно — о мире, другое — о том, кто его держит.

И наконец, я признаю остаток, который критик прав, что чувствует. Есть сомнения, которые не снимаются ничем, — не потому, что человек боится, а потому, что вопрос так устроен. Есть ли Бог. Есть ли смысл. Прав ли я был тогда. У них нет условия завершения, и правило скальпеля велит опознать их как другой род — не задачу, а границу, — и жить рядом с ними иначе, чем с задачами: не кружа, а неся. Об этом будет отдельный разговор, много позже, когда речь пойдёт о тайне; здесь важно только не смешивать эти два рода и не требовать от границы, чтобы она вела себя как задача.

Пока достаточно сказать, что человек, который держит открытым вопрос о смысле жизни и при этом каждое утро встаёт и делает своё дело, — выполняет правило самым трудным спо-

собом: его неснимаемое сомнение ведёт к лучшему знанию — знанию о том, где кончается знание, — и к лучшему действию — тому, которое делается без гарантий. Юм в этом месте обедал и играл в триктрак. Это был не побег от вопроса. Это был единственный честный способ его нести.

Что уносить с собой

В прошлой главе ум определился как способность держать вопрос открытым без паники. Это определение — только половина дела, и без второй половины оно опасно. Открытость вопроса — не самоцель и не добродетель, которую следует хранить любой ценой. Вопросы открывают на время, как открывают дверь, чтобы впустить то, чего в комнате ещё нет: знание или поступок. Держать открытым — значит держать открытым до тех пор, пока это «то» не войдёт. Как только оно входит, вопрос начинает закрываться — и закрывается не насильно, не приказом «хватит», не усталостью, а изнутри, как заживает разрез: ткани срастаются сами, потому что в них восстановилось нарушенное.

Сомнение, которое умеет так закрываться, — скальпель: оно режет, делает дело и уходит. Сомнение, которое закрываться не умеет, — рана; и человек, носящий её, легко принимает её за глубину, потому что она болит, а боль кажется доказательством серьёзности.

Между догматиком, не сомневающимся ни в чём, и циником, сомневающимся во всём, разница меньше, чем кажется обоим. Оба закрыли зазор между «кажется» и «проверено» — только с разных сторон. Догматик объявил, что «кажется» и есть «проверено»: его мнение не нуждается в проверке, потому что уже истинно. Циник объявил, что «проверено» не существует: любая проверка ложна, любое знание продажно, любое убеждение корыстно. И тот и другой избавили себя от мышления — один уверенностью, другой безнадёжностью.

Мышление живёт именно в зазоре, в промежутке между первым впечатлением и окончательным суждением; закрыть этот промежуток — значит погасить мысль. Человек, который держит зазор, сомневается в этом — конкретно, направленно, с аппетитом к информации и готовностью остановиться, когда она пришла. Он сомневается не во всём сразу; он сомневается в чём-то одном, и потому его сомнение имеет предмет, границы и возможный конец. При этом он стоит на всём остальном, что сейчас не оспаривает, — как моряк стоит на досках, которые не вынимает, пока перестраивает корабль. Он сомневается, чтобы знать лучше или поступать лучше.

Когда же сомнение не даёт ни того ни другого, он узнаёт в нём либо страх в маске, либо границу. Со страхом он обходится соответственно: выводит его на свет и лишает права называться размышлением. Границу он признаёт и несёт: это вопрос, у которого нет условия завершения, и его нельзя решить — можно только жить с ним, не позволяя ему превратиться в паралич.

И действует. Действует не потому, что знает, — знание при неполной информации невозможно, — а потому, что путник, идущий прямо, выйдет, а кружащий на месте не выйдет; и потому, что не решить — это тоже решить, только без чести. Отложенное решение всё равно выбирает исход, но выбирает его трусливо: человек получает последствия отказа, не принимая на себя ответственность за выбор. Действие при неполном знании — не самонадеянность, а единственный способ узнать, куда ведёт дорога.

Именно это и стоит уносить с собой: не готовые ответы, а умение держать вопрос открытым ровно столько, сколько нужно, чтобы в него вошло знание или поступок, — и закрывать его изнутри, а не из страха.

Лаборатория: развязать сомнение

Возьмите одно решение, которое вы откладываете. Настоящее — не что съесть на ужин, а то, что висит месяцами или годами и о чём вы себе говорите: «я ещё не решил». Работа, отношения, переезд, разговор, который надо провести, дело, которое надо начать или бросить. Одно.

Напишите наверху листа само решение, в одну строку, в форме «да или нет». Затем под ним выпишите всё, что мешает ответить. Все «я не уверен», «непонятно», «а вдруг», «мне нужно сначала понять» — как они звучат у вас в голове, без правки, столько, сколько есть. Не выбирайте из них самые приличные и не отбрасывайте те, которые стыдно произнести вслух; в этом упражнении работает только полная честность, потому что список — это и есть ваш ум в момент сомнения, а не его парадный портрет.

Теперь пройдите по каждому пункту с одним вопросом, тем самым, что достался нам от Поппера: что сняло бы это сомнение? Какой факт, разговор, попытка, цифра, чей ответ. Напишите рядом. И тут же ответьте на второй: могу ли я это получить, и если да — почему не получил до сих пор? Второй вопрос важнее первого. На первый ответить легко: почти всегда можно придумать, какое свидетельство убедило бы. Второй вопрос ловит вас на деле: если свидетельство доступно, а вы за ним не пошли, значит, дело не в недостатке данных, а в чём-то другом — и нужно понять, в чём.

Здесь, как правило, происходит расслоение, и оно поучительно. Часть сомнений окажется настоящими — под ними действительно чего-то не хватает, это что-то доступно, и вы просто не ходили за ним; такие сомнения не надо решать, их надо утолить: пойти, спросить, попробовать, посчитать, и они закроются сами. Другая часть окажется странной: вы будете писать, что могло бы их снять, — и ловить себя на том, что каждую возможную проверку хочется тут же отвергнуть как недостаточную, что вместо одного ответа рождаются два новых вопроса, что вам от них не хочется избавляться. Это те, у которых нет аппетита: вы не стремитесь к ответу. Спросите себя о каждом прямо, письменно: чего я на самом деле боюсь, если это решу? — и напишите ответ, даже если он неприятен, особенно если он неприятен. В большинстве случаев он не будет иметь отношения к тому, что вы называли сомнением; он будет о потере, о стыде, о чужом мнении, о невозможности вернуть.

Останется, возможно, третье — то, что не снимается ничем, потому что вопрос так устроен: никакие данные не скажут, стоит ли риск того, потому что стоимость риска — это вы, а не мир. Это не сомнение и не страх, это неустранимая неопределённость всякого настоящего выбора, и с ней делают то, что делал путник Декарта: выбирают направление и идут.

Поэтому последний шаг — назначить дату. Не решения — сроков утоления настоящих сомнений: к какому дню будут собраны те сведения, которых честно не хватает. И договориться с собой, что в этот день вы решите, — с тем, что будет известно, и с тем, что известно не будет, — и пойдёте прямо. Потому что, как мы выяснили, вы уже решаете каждый день, пока не решаете, — только не своей волей, а исходом.

Глава 3. Язык: клетка и ключ

Вода

Пятого апреля 1887 года в алабамском городке Таскамбия семилетняя девочка, слепая и глухая с полутора лет, стояла у колонки во дворе, и её учительница качала воду ей на одну руку, а на другой пальцами выводила буквы: w-a-t-e-r. Учительница делала это уже месяц — выводила на ладони слова, прикладывала к предметам, — и девочка повторяла движения, как обезьянка, не понимая, зачем. Утром того дня она в ярости разбила куклу. Ей было всё равно.

А потом у колонки что-то произошло. Хелен Келлер описала это спустя пятнадцать лет, и описание стоит того, чтобы читать его медленно. Пока холодная струя текла по одной руке, а по другой бежали буквы, она вдруг замерла: всё её внимание сошлось на движении пальцев. «Каким-то образом тайна языка открылась мне. Я поняла тогда, что „в-о-д-а“ означает то чудесное прохладное нечто, что льётся по моей руке». Слово, пишет она, разбудило её душу и дало ей свет. Она отошла от колонки, охваченная жаждой понимания: теперь у всего было имя, и каждое новое слово рождало целую волну мыслей. К вечеру она выучила три десятка слов. А войдя в дом, вспомнила про куклу, нащупала осколки, попыталась сложить — и заплакала: «впервые я почувствовала раскаяние и печаль».

Обратите внимание на порядок событий. Кукла была разбита утром, до слова. Раскаяние пришло вечером, после. Между утром и вечером с куклой ничего не случилось — случилось с девочкой: у неё появился язык, и в нём, среди прочего, появилось место для того, что она сделала. Пока не было слов, не было ни поступка, ни виноватого, ни утраты — было движение рук и звук ломающегося фарфора. Не было поступка, потому что поступок требует того, кто поступает, и того, с кем поступают, и времени, в котором одно следует за другим; не было виноватого, потому что вина живёт только там, где есть слово «нельзя»; не было утраты, потому что утрата — это когда было, а теперь нет, а для «было» и «нет» нужны слова. Была неразличимая масса ощущений, в которой ломающийся фарфор не отличался от воды, льющейся по руке.

Позже, уже взрослой, Келлер писала о себе прежней ещё резче: до прихода учительницы она не знала, что она есть; она жила в мире, который был не-миром, и называла то существо «призраком», потому что не могла назвать его «я». Не-мир — это не метафора: мир без слов не имеет швов — тех границ, по которым его можно разложить на отдельные вещи; в нём нет предметов, нет прошлого и будущего — только поток, где невозможно ничего опознать, потому что опознание требует имени.

Обычно эту историю рассказывают как трогательную. Она не трогательная — она страшная и великая одновременно, потому что показывает, чем на самом деле является слово. Мы думаем, что слова — этикетки: мир уже разложен на вещи, а мы только наклеиваем ярлыки, чтобы удобнее было передавать друг другу. Келлер у колонки открыла обратное. Вода лилась по её руке тысячи раз до того дня, и не было никакой «воды» — было ощущение, слитое со всеми остальными ощущениями в одну неразличимую массу. Слово не наклеилось на вещь. Слово вырезало вещь из потока — провело границу там, где её не было, и по эту сторону границы оказалось «прохладное нечто», а по ту — всё остальное. И вместе с водой оно нарекло мир: кукла стала куклой, разбитое — разбитым, а тот, кто разбил, — тем, кто разбил и кому теперь жаль. Слово не назвало то, что уже было; оно создало то, что можно назвать.

Значит, между словом и вещью есть зазор, и в этом зазоре происходит нечто большее, чем обозначение. В нём возникает мир как мир — разделённый на предметы, имеющий прошлое, вмещающий раскаяние. Зазор — не дефект языка, не его неспособность дотянуться до реальности; это пространство, в котором реальность становится человеческой. Без него мы были бы как Келлер до слова: в потоке, без вещей, без себя, без «было» и «будет». Но там же — и это

вторая половина истории, которую Келлер не писала, потому что ей повезло с учительницей, — возникает и другое.

Если слово может вырезать из потока воду, оно может вырезать и то, чего в потоке не было. Оно может вырезать «лентяя» из ребёнка, который просто медленнее других. «Неудачника» — из человека, у которого сорвалось два дела подряд. «Врага» — из соседа. Каждый раз это будет та же операция: граница, проведённая там, где её не было, и вещь, появившаяся по эту сторону границы. Сила, разбудившая душу семилетней девочки, — та же сила, которой отравляют народы. И различить их по внутреннему устройству нельзя: механизм у них один. В обоих случаях слово режет поток. Различить можно лишь по тому, куда человек смотрит: на слово или сквозь него. Смотреть на слово — значит принимать проведённую границу за свойство мира, верить, что «лентяй» или «враг» существует так же, как существует вода. Смотреть сквозь слово — значит видеть за ним поток, из которого оно вырезано, и помнить, что граница была проведена, а не найдена

Об этом глава. О том, что мы думаем не о мире, а о мире, уже нарезанном словами, и что нарезку эту делали не мы; о том, что она одновременно клетка и ключ; и о том, как научиться видеть прутья. Видеть прутья — значит замечать, где язык провёл границу и выдал её за вещь; где слово, которое должно было открыть мир, закрыло его; где название, вместо того чтобы помочь увидеть, заслонило то, что названо. Это не значит отказаться от слов — без них нет ни мира, ни нас. Это значит пользоваться ими, зная, что они сделаны, а не даны.

Спор в Афинах о том, кто даёт имена

Первым это расстояние между словом и вещью разглядел Платон, и разглядел, как обычно, в форме спора.

В диалоге «Кратил» двое молодых людей — Кратил и Гермоген — приходят к Сократу, чтобы он рассудил их спор. Кратил утверждает: у каждой вещи есть правильное имя — от природы, как есть у неё природный вид, — и имя, данное неверно, не имя вовсе, а пустой звук. Гермоген возражает: имена — чистое соглашение. Как хозяин зовёт раба, как ему вздумается, так и люди зовут вещи, и никакой правильности тут нет — договорись мы завтра называть коня человеком, конь стал бы человеком в языке и ничего бы не потерял в стойле.

Спор древний, и удивительно, что он ещё не закончен. Лингвист скажет вам, что прав Гермоген: наука о языке давно установила, что связь между звучанием слова и тем, что оно обозначает, произвольна — нет ничего в звуках «собака», что делало бы их подходящими именно для собаки. Поэт скажет, что прав Кратил: для него слово — не условный знак, а плоть вещи, и настоящий поэт ищет единственное слово, которое схватит суть, а не любое подходящее. А ребёнок, спрашивающий, почему собаку зовут собакой, задаёт тот же вопрос, что и они, — и не получит ответа ни от лингвиста, ни от поэта, потому что оба ответа будут звучать как отговорки.

Сократ поступает так, как поступал всегда: становится на сторону каждого по очереди и доводит её до предела — до той точки, где позиция обнаруживает свою несостоятельность и рассыпается. Полдиалога он с азартом сочиняет этимологии, выводя греческие слова из других слов, будто бы схватывающих сущность вещи. Часть этих выводов остроумна, часть откровенно пародийна — Сократ выводит одно слово из другого с такой лёгкостью, что становится смешно, — и читатель не сразу понимает, что над ним подшучивают. А потом делает поворот, ради которого всё и затевалось.

Допустим, говорит он, имена действительно давал некий первый законодатель, разглядевший сущности вещей и давший каждой подходящее имя. Но откуда мы знаем, что он разглядел их правильно? Он был человеком; человек может ошибиться; и если он ошибся, то, изучая имена, мы изучаем не вещи, а его ошибку — причём ошибку, застывшую и передаваемую из поколения в поколение как истина. Стало быть, заключает Сократ, разумный человек

не станет учиться вещам через имена. Он будет учиться вещам через сами вещи, а имена держать под подозрением — как инструмент, сделанный чужими руками, возможно, плохо.

Это первый в истории мысли акт недоверия к языку, и он важнее, чем спор о природе и договоре, который так и остался нерешённым. Сократ говорит: между словом и вещью — расстояние, и его не следует схлопывать ни в ту сторону, где слово якобы содержит сущность, ни в ту, где оно ничего не значит. Слово — указатель. Указатель может указывать неверно. Знать слово — не значит знать то, на что оно указывает. Мы уже видели это в первой главе на застёжке-молнии: человек знал слово «молния» и полагал, что знает молнию; это была иллюзия глубины объяснения, и её механизм ровно тот, что описал Сократ: имя заняло место понижения, и человек перестал искать, потому что ему казалось, что уже нашёл.

Есть один момент в «Кратиле», который обычно пропускают и который стоит запомнить на потом. Сократ сравнивает имя с ткацким челноком: челнок — орудие, которым разделяют нити; имя — орудие, которым разделяют вещи и учат друг друга. Не зеркало, не этикетка — орудие разделения. То самое, что вырезало воду из потока на ладони Хелен Келлер. И, как всякое орудие, оно сделано кем-то и для чего-то. Хороший челнок делает ткач, знающий ткань. Кто делал слова, которыми вы думаете о себе? И знал ли он вас?

Забытые метафоры

Через две с лишним тысячи лет двадцатидевятилетний профессор классической филологии в Базеле написал маленький текст, который при жизни не опубликовал, — «Об истине и лжи во вненравственном смысле». Ницше взял сократовское подозрение к именам и довёл до такой степени, что оно перестало быть подозрением и стало картиной мира. У Сократа было недоверие к отдельному слову; у Ницше — недоверие ко всему языку как к способу видеть мир.

Что происходит, спрашивает он, когда мы произносим слово? Сначала есть раздражение нерва — физический сигнал, дошедший до глаза, до уха, до кожи: что-то светит, что-то звучит, что-то давит. Оно переносится в образ: это первая метафора, перенос из одного разряда в совершенно другой — из области чистого ощущения в область зрительной картинки. Образ переносится в звук: вторая метафора, снова прыжок через пропасть — от картинке к сочетанию звуков. Мы говорим «камень твёрдый», как будто твёрдость известна нам иначе, чем как наше собственное, целиком субъективное ощущение, — и уже забыли, что «твёрдый» было когда-то переносом, образом, а не свойством. Слово «твёрдый» когда-то описывало то, как мы чувствуем сопротивление ладонью, а теперь мы говорим о камне так, будто твёрдость принадлежит ему самому, независимо от чьей-либо руки. А потом происходит главное. Слово должно годиться не для одного случая, а для бесчисленных: одно слово «лист» — для всех листьев. Но нет двух одинаковых листьев. Понятие «лист» получилось отбрасыванием различий: мы забыли всё, чем этот лист отличается от того, и назвали остаток сущностью. Понятие, говорит Ницше, есть уравнивание неравного — операция, при которой мы сознательно закрываем глаза на различия и объявляем то, что осталось после этого закрытия, природой вещи. Каждое общее слово — маленькая ложь, необходимая, полезная, без которой не было бы ни речи, ни мысли, но ложь: оно утверждает тождество там, где есть только сходство, и заставляет думать, что за словом стоит вещь, тогда как за ним стоит операция забывания — забывания того, что мы сами провели границу и сами стёрли различия.

И дальше — фраза, которую цитируют чаще всего и понимают реже всего. Что же такое истина? Подвижное войско метафор, метонимий, антропоморфизмов — то есть переносов по сходству [метафора], переносов по смежности [метонимия: назвать меч «сталью», а короля — «короной»] и перенесений человеческих свойств на нечеловеческое [антропоморфизм: «упрямый камень», «ласковый ветер»]. Всё это — сумма человеческих отношений, которые были поэтически и риторически усилены, перенесены, украшены и после долгого употребления стали казаться народу каноническими и обязательными — то есть непререкаемыми, само собой разумеющимися. Истины — иллюзии, о которых забыли, что они таковы; метафоры,

которые истёрлись и потеряли чувственную силу; монеты, с которых стёрлось изображение и которые теперь принимают не за монеты, а за металл.

Это можно прочесть как нигилизм: «всё ложь, ничего не значит». Однако сам Ницше мыслит строже. Его тезис точнее. Он не утверждает, что за словами ничего нет. Он утверждает, что слова, которыми мы пользуемся как прозрачными, на самом деле были когда-то сделаны — кем-то, для чего-то, из какого-то образа, — и что мы забыли об этом, и что забывание делает нас пленниками того, что мы могли бы держать в руках. Монета — не бесполезна. Бесполезно принимать её за золото. Так и слово: оно работает, пока мы помним, что это монета, а не металл; беда начинается, когда мы забыли о чеканке и видим в слове саму вещь.

Проверьте это на своём языке — и обнаружите, что почти каждое отвлечённое слово, которым вы думаете о жизни, есть окаменевшая картинка. Понять — это «по-ять», взять, схватить: понимание было когда-то хватанием рукой, и до сих пор мы говорим «схватываю», «доходит», «не укладывается» — телесные жесты, притворяющиеся умственными. Решить когда-то значило «развязать» — мы уже воспользовались этим в прошлой главе, не оговаривая: решение — это распутывание узла, а не удар меча, и в самом слове заключён совет, которого никто не слышит. Депрессия — давление вниз, что-то придавленное; человек в депрессии не «болен» в том смысле, в каком болеют гриппом, — в него вдавлен образ пресса, и от образа зависит, что он будет делать: ждать, пока отпустит, или искать, что давит. Успех — от «успеть»: успех — это когда ты вовремя, когда поспел; в самом слове живёт беговая дорожка и часы, и человек, гонящийся за успехом, гонится буквально за тем, чтобы не опоздать, — не спрашивая, куда. А счастье — «с-частье», иметь часть, долю: счастлив тот, кому досталась хорошая доля, и в слове заложено, что она достаётся, а не делается, — древняя метафизика жребия, которую вы каждый раз проговариваете, желая кому-то счастья. Ни одно из этих слов вы не выбирали. Каждое пришло к вам с изображением, стёршимся до неразличимости, и каждое, произносимое как прозрачное, незаметно диктует, как смотреть.

Ницше заканчивает свой текст не приговором, а различием двух людей. Один — расудочный человек, живущий внутри понятий, как в крепости, и не помнящий, что крепость построена из метафор; он защищён и слеп. Другой — интуитивный, художник, который помнит, что понятия сделаны, и потому может делать новые, ломать старые, видеть лист, а не «лист». Первый устойчив и несвободен. Второй свободен и уязвим. Ницше, разумеется, за второго; но для нашего разговора важнее не выбор, а само наличие двух позиций, потому что оно означает: у человека есть расстояние до собственных слов. Он может стоять внутри них — и может выйти и посмотреть на них снаружи. Вода на ладони Хелен Келлер стала «водой» — это вход. Ницше показывает, что есть и выход, и что он не назад, в бессловесность призрака, а вперёд, в положение того, кто знает, что слово сделано.

Границы моего мира

Людвиг Витгенштейн — единственный философ в этой книге, которому придётся ответить два места, потому что он единственный, кто дважды в жизни построил философию, и вторая была направлена против первой.

Первая уместилась в семьдесят пять страниц, написанных в окопах Первой мировой и в итальянском плену, и называлась «Логико-философский трактат». В ней — фраза, растянувшаяся до потери смысла: «Границы моего языка означают границы моего мира». Её повторяют как афоризм, не вдумываясь в её буквальный смысл, а между тем молодой Витгенштейн имел в виду нечто очень строгое. Язык — это картина фактов: предложение работает как изображение, как фотография положения вещей. Оно осмысленно тогда, когда показывает возможное положение дел — то, что может быть или не быть, что можно представить. Всё, что нельзя так изобразить, — этика, эстетика, смысл жизни, Бог, — не ложно, а невыразимо, и об этом следует молчать. Не потому, что это неважно, — он считал, что как раз это единственно

важное, — а потому, что язык для этого не годится, как линейкой не измеришь температуру: инструмент не тот.

Мир, о котором я могу говорить, кончается там, где кончается моя способность построить осмысленное предложение. Дальше — не пустота, а то, что показывает себя, но не говорится: оно присутствует, оно дано, но его нельзя высказать словами, потому что слова созданы для фактов, а не для того, что выше или ниже фактов.

Написав это, он решил, что философия закончена, и ушёл учительствовать в австрийскую деревню. А через десять с лишним лет вернулся в Кембридж — потому что понял, что ошибся, и ошибся не в частностях, а в самом представлении о том, как работает язык. Вторая философия, изложенная в «Философских исследованиях», изданных уже после его смерти, начинается с того, что слово — не имя предмета и не картина факта. Слово — это ход в игре. Значение слова — не вещь, на которую оно указывает, а способ, которым его употребляют: как «мат» в шахматах значит не какую-то фигуру, а определённое положение, определённое действие в определённых правилах. Языков-игр много: приказ, вопрос, шутка, молитва, отчёт, признание, — и одно и то же слово в разных играх делает разное. «Не думай, а смотри», — говорит он: не спрашивай, что слово есть, — посмотри, как оно работает.

И из этого выросла мысль, которая непосредственно касается каждого, кто когда-либо мучился вопросом «кто я на самом деле». Философские проблемы, говорит поздний Витгенштейн, возникают, когда язык «уходит на праздник» — когда слово вынимают из той игры, где оно работает, и заставляют работать там, где ему нечего делать: там, где нет правил, нет употребления, нет места для этого хода. Философ — это человек, которого язык околдовал: он принимает грамматику за природу вещей, форму слова — за форму мира; философия — борьба против околдовывания нашего разума средствами языка; и её задача — не решить проблему, а растворить её, показав, как она возникла из грамматики. Его образ: муха бьётся в бутылке, не понимая, что горлышко открыто, — надо показать мухе выход из мухоловки. Или: обращение философа с вопросом подобно лечению болезни — не спор с больным, а устранение причины недуга.

Поясню на примере, с которым Витгенштейн работал сам и с которым мы ещё встретимся в главе о времени. Августин спрашивал: что такое время? Если меня не спрашивают, я знаю; если спрашивают, не знаю. Витгенштейн отвечает: заметьте, откуда берётся мучение. Слово «время» — существительное. Существительные обозначают предметы: стол, камень, вода. И вот мы, спрашивая «что такое время?», уже ожидаем ответа того же рода, что на «что такое стол?», — ожидаем, что нам предъявят некую вещь. Вещь не предъявляется. Мы решаем, что время — вещь особенно загадочная. Но загадка не во времени, а в грамматике: мы прекрасно умеем употреблять слово — назначать встречи, измерять, торопиться, — и никакого дефицита понимания в этом умении нет; дефицит возник, когда мы вырвали слово из его игры и потребовали, чтобы оно вело себя как имя предмета.

Теперь примерьте это на вопросы, которые не дают спать. «Где во мне настоящий я?» — «где» предполагает место; «настоящий я» — предмет, который можно найти, как ключи; человек ищет, не находит, приходит к выводу, что внутри пусто, и страдает от пустоты, которую произвела грамматика вопроса. «В чём смысл жизни?» — «в чём» предполагает вместилище, смысл предполагается предметом, лежащим внутри вместилища; предмета не находится; вывод — смысла нет. «Что она на самом деле чувствует?» — «на самом деле» предполагает, что за словами и поступками спрятана вещь-чувство, и её можно откопать; а чувство, возможно, вообще не устроено как спрятанная вещь — оно может быть не предметом, а процессом, отношением, способом вести себя.

В каждом случае мучение не выдуманно — оно настоящее, оно физически болит, — но источник его не там, где человек ищет. Он в форме вопроса, которая была навязана языком раньше, чем человек начал думать.

Здесь надо остановить руку, потому что отсюда легко сделать ложный вывод — что все великие вопросы суть недоразумения и что достаточно грамотно их переформулировать, чтобы они исчезли. Сам Витгенштейн этого не утверждал; он говорил, что глубина этих недоразумений — это глубина самой грамматики: они не глупость и не случайность, а неизбежное следствие того, как устроен язык, и растворить их можно только пройдя через них, а не отмахнувшись.

И — что важнее — не все вопросы растворяются; часть после расчистки не исчезает, а меняет форму и остаётся стоять, только теперь уже как настоящий вопрос, а не как болезнь языка. К этому мы вернёмся, когда будем разбирать возражение. Пока достаточно вынести из Витгенштейна одно: слова тащат за собой грамматику, грамматика тащит за собой ожидания, и человек может годами биться в бутылку, которую сколотили из того, что «смысл» — сущестительное.

Слова, которые делают

Есть ещё один поворот, без которого картина неполна, и его сделал человек, менее знаменитый, чем трое предыдущих, — оксфордский профессор Джон Остин, читавший в 1955 году в Гарварде лекции, изданные потом под насмешливым названием «Как совершать действия при помощи слов». Название насмешливое потому, что в нём слышится пародия на практические руководства — «как чинить велосипед», «как печь пироги», — а между тем речь идёт о вещи куда более странной: о том, что словами можно не описывать мир, а делать с миром.

Остин заметил вещь, мимо которой прошла вся философия языка, занятая вопросом, истинно ли предложение и что оно изображает. Существует класс высказываний, которые вообще ничего не изображают и не могут быть ни истинными, ни ложными, потому что они не описывают действие — они являются действием. «Объявляю вас мужем и женой». «Нарекаю этот корабль „Королевой Елизаветой“». «Обещаю». «Готов поспорить». «Прошу прощения». Когда священник произносит первую фразу, он не сообщает о браке — он его заключает; до фразы брака не было, после — есть, и изменил положение вещей не документ, не поцелуй, а произнесённые слова.

Остин назвал такие высказывания перформативами — от английского *perform*, «исполнять», «совершать»: это слова, которые не описывают действие, а сами его исполняют. К ним неприменим вопрос «правда ли это?», зато применим другой: удалось ли это? Получилось ли то, что должно было получиться? Если фразу «объявляю вас мужем и женой» произнесёт прохожий, брак не состоится — не потому, что фраза ложна, а потому, что не соблюдены условия: у говорящего нет полномочий, обстоятельства не те, процедура не та. Перформатив может быть уместным или неуместным, состоявшимся или холостым — как холостой выстрел: порох сгорел, звук был, а пуля не полетела. Но истинным или ложным он не бывает: это не та мерка.

А потом Остин сделал то, что делают настоящие мыслители со своими открытиями: разрушил его. Он показал, что граница между «описывающими» и «делающими» высказываниями не держится, — что любое высказывание что-то делает: утверждает, предупреждает, обвиняет, утешает, — и что, произнося даже самое нейтральное «идёт дождь», человек совершает акт, у которого есть говорящий, слушающий, цель и последствия. «Идёт дождь» — не просто картинка погоды: это предупреждение, оправдание, повод остаться, способ начать разговор. Речь — не зеркало, поднесённое к миру. Речь — поступок в мире, и притом такой, который меняет мир для того, кто слушает: после сказанного ты знаешь что-то, чего не знал, или чувствуешь что-то, чего не чувствовал, или обязан что-то сделать, чего не делал. Даже молчание — ход, потому что не сказать тоже значит что-то сделать с собеседником и с собой.

Теперь соедините это с Келлер. Слово не только вырезает вещь из потока — слово ставит вещь в мир, где её не было. «Ты лентяй», сказанное семилетнему, — не описание; оно не может быть истинным или ложным, потому что «лентяй» — не факт, а имя, и имя это, произнесённое с достаточной властью и достаточно раз, делает лентяя примерно так же, как «объявляю

вас» делает мужа и жену: не мгновенно, но по той же схеме — через принятие. Ребёнок не проверяет истинность; он принимает акт, как жених принимает венчание. И дальше живёт в браке с этим словом. Остиновские условия уместности здесь работают буквально: перформатив удаётся, если говорящий наделён полномочиями — правом совершать это действие. Родитель ими наделён — ребёнком, который не может не наделить: для ребёнка родитель и есть тот, кто определяет, что есть что. Учитель, врач, начальник, любимый человек — наделены в разной степени.

И взрослый, спустя тридцать лет всё ещё живущий под словом «лентяй», «неудачник», «сложный», «недостаточно», — живёт под перформативом, который состоялся когда-то потому, что у говорившего были полномочия, и продолжает действовать потому, что полномочия эти никто не отозвал. Их можно отозвать. Но для этого сначала надо заметить, что это был не факт, а акт: не описание того, что есть, а действие, которое сделало так, что это стало.

Остин открыл, что в зазоре между словом и вещью помещается не только значение — там помещается власть. Право называть есть право делать: тот, кто называет, определяет, чем вещь будет для тех, кто услышит. Первая книга Библии знала это раньше Оксфорда: Адам получает господство над животными в тот момент, когда даёт им имена. И Конфуций, за две с половиной тысячи лет до Остина, на вопрос ученика, с чего он начал бы управление государством, ответил: с исправления имён, — потому что если имена неправильны, то слова не соответствуют делу; если слова не соответствуют делу, дела не совершаются; если дела не совершаются, не процветают ритуал и музыка; если не процветают ритуал и музыка, наказания не достигают цели; а если наказания не достигают цели, народ не знает, куда ступить.

Цепочка длинная, но её начало и конец ясны: неправильно названное — неправильно сделанное, и порча слов предшествует порче всего остального. Сначала люди перестают называть вещи правильно, потом — делать их правильно, потом — жить правильно. Порядок именно такой.

Колея, не решётка

Прежде чем идти дальше, надо оговорить одну вещь, потому что из сказанного легко вывести слишком много.

Из Ницше, Витгенштейна и Остина, сложенных вместе, соблазнительно заключить, что язык полностью определяет мышление — что мы заперты в нём, как в тюрьме, и не можем подумать того, для чего у нас нет слова. Эта идея в двадцатом веке получила имя гипотезы Сепира — Уорфа и одно время была очень модной; потом её сильную версию — ту, которая утверждала, что язык целиком определяет не только мысль, но и восприятие, и что люди разных языков живут в разных мирах, — довольно убедительно опровергли, а потом, уже в нашем веке, аккуратными экспериментами восстановили версию слабую: язык не создаёт мысль, но влияет на неё, подталкивает внимание в одну сторону и не подталкивает в другую. И слабая версия — именно то, что нужно для нашего разговора: она объясняет, почему слово может быть и инструментом, и ловушкой, не превращая человека в автомат, говорящий на языке.

В 2007 году группа психологов провела опыт, простой до элегантности. В русском языке нет одного слова для синего — есть «синий» и «голубой», два разных базовых цвета; в английском — одно слово blue. Русскоязычным и англоязычным испытуемым показывали квадраты разных оттенков синего и просили быстро определить, какие два одинаковы. Русскоязычные различали оттенки, лежащие по разные стороны границы «синий/голубой», заметно быстрее, чем оттенки внутри одной категории; у англоязычных такой асимметрии не было. А когда русскоязычным давали одновременно словесную нагрузку — заставляли держать в уме последовательность цифр, — преимущество исчезало.

Что это значит? Язык не делал их зрение другим: они видели те же длины волн, что и англоязычные. Он делал другим внимание: прочерчивал в непрерывном спектре границу, к которой глаз возвращался быстрее, потому что у границы было имя. Слово не изменило глаз —

оно изменило то, куда глаз смотрит и как быстро он различает. Есть народы, в языках которых нет слов «слева» и «справа» — только «на север», «на юг», — и их носители в любой момент, в незнакомом помещении, безошибочно знают, где север, потому что язык требует этого от них по сто раз на дню. Не тюрьма — тренажёр.

Значит, картина такая: язык не решётка, а колея. Он не запрещает думать иначе — он делает один путь накатанным, а другой требующим усилия. Можно подумать то, для чего нет слова, — Хелен Келлер до колонки наверняка что-то думала; можно различить оттенок, у которого нет имени. Но привычное слово тянет в привычную сторону, и без усилия мысль катится туда, куда проложена колея, — и притом не замечая, что катится, потому что колея ощущается как «просто так устроено». Это хуже тюрьмы в одном отношении: из тюрьмы хочется выйти, а из колеи — нет, в ней удобно. И лучше в другом: из колеи выйти можно, стоит лишь увидеть, что она есть.

Мышьяк малыми дозами

Всё, о чём шла речь до сих пор, философы понимали, когда язык менялся медленно — веками, незаметно, как береговая линия. Наше положение отличается не по сути, а по скорости, и скорость меняет суть. Когда берег размывается тысячу лет, никто не замечает, что земля уходит; когда тот же процесс занимает десятилетие, он становится событием. Язык всегда менялся, и всегда кто-то это замечал; но никогда ещё изменение не было таким быстрым, чтобы его можно было наблюдать в реальном времени — и чтобы оно успевало перестроить голову одного человека за его собственную жизнь.

В 1947 году филолог Виктор Клемперер, переживший нацизм в Дрездене, потому что был женат на немке, издал книгу «ЛТИ» — «Язык Третьего рейха», собранную из дневниковых записей, которые он вёл все двенадцать лет, наблюдая не за политикой, а за словами. Он заметил, что режим держится не только на терроре и не столько на речах — речи он слушал скептически, — а на словаре, который проникает в бытовую речь и меняет её незаметно для говорящих. «Фанатичный» становится похвалой — слово, которое раньше означало слепую одержимость, начинает звучать как «преданный», «стойкий». «Народный» прирастает ко всему — «народный автомобиль», «народный суд», — и вещь, к которой приросло это слово, уже нельзя критиковать, потому что критиковать народное значит быть против народа. «Организовать» начинает означать «раздобыть»: «организовать билеты», «организовать продукты» — язык делает нужду инициативой. Слово «система» становится ругательным — им клеймят тех, кто не вписался, — а «инстинкт» почтенным: «здоровый инстинкт народа» заменяет мысль.

И сам Клемперер, филолог, знавший всё это и записывавший, ловил себя на том, что в собственной речи употребляет их обороты. Он написал фразу, которую следовало бы выучить в школах: «Слова могут быть как крохотные дозы мышьяка: их глотают незаметно, они как будто не оказывают действия, а потом, через некоторое время, проявляется отравление». Никто не решает начать думать по-нацистски. Человек просто десять лет говорит «фанатично» с одобрением — и однажды обнаруживает, что в его голове фанатизм есть добродетель, и не помнит, когда это случилось. Яд не подан в стакане; он подан в словах, и слова эти человек произносит сам, добровольно, не чувствуя ничего.

Оруэлл двумя годами раньше писал о том же с английской стороны: политический язык устроен так, чтобы ложь звучала правдиво, а убийство — респектабельно. Деревни сжигают — это называется «умиротворением»; людей отправляют умирать в лагеря — «устранение ненадёжных элементов». Слово выбирается не за точность, а за способность не вызвать картинку: услышав «умиротворение», человек не видит горящей соломенной крыши, а услышав «сгорела деревня» — видит. Между словом и вещью вставляется туман, и туман этот производится намеренно. Оруэлл, как и Клемперер, думал, что главный отравитель языка — государство.

Они не могли предвидеть того, что произошло дальше. Порча языка, которой оба боялись, как насилия сверху, пришла снизу и добровольно — не от цензора, а от рынка внимания, который оказался самым слепым и мощным селективным механизмом в истории. Никогда в истории столько слов не производилось столькими людьми с такой скоростью и с таким малым обдумыванием. И никогда отбор слов не производился таким слепым и мощным механизмом. Алгоритм ленты не имеет мнений; он имеет метрику: сколько человек задержалось, нажало, ответило. Слова, которые задерживают и заставляют отвечать, распространяются; слова, которые не заставляют, исчезают. А задерживает и заставляет отвечать — гнев, страх, презрение, разделение на своих и чужих.

Поэтому в среде, где живёт язык миллиардов людей, выигрывают слова, которые сжимают, ярлыки, которые быют, и проигрывают слова, которые различают, — не потому, что кто-то этого хотел, а потому, что таково давление отбора. Оруэлловский новояз нужно было навязывать — у него был автор, был план, была власть, которая его внедряла. Наш складывается сам, и никто не выбирал его, как никто не выбирал колею. Никто не сидит и не решает, что слово «токсичный» должно вытеснить выражение «тяжёлый человек»; просто одно задерживает палец на экране, а другое нет.

Присмотримся к нескольким словам этого языка — не самым грубым, а самым мягким и потому самым действенным. Грубое слово отталкивает и заставляет защищаться; мягкое входит незаметно и кажется своим.

Токсичный. Двадцать лет назад так говорили о веществах; теперь так говорят о людях, отношениях, коллективах, родителях. Слово пришло из химии и принесло с собой химическую логику: с ядом не разговаривают, яд не понимают, с ядом не выясняют отношений — яд удаляют. И для настоящих отравителей — тех, кто систематически разрушает другого, — это слово было освобождением: оно дало имя тому, что раньше приходилось объяснять двадцатью фразами, и право уйти без объяснений. Но слово не остановилось на них. Оно расплодилось на любого, кто причиняет дискомфорт: на друга, сказавшего правду, на мать, позвонившую не вовремя, на коллегу с другим мнением. И в каждом таком случае оно закрывает вопрос — единственный вопрос, который стоило бы задать: что именно он сделал, и почему мне от этого так?

«Он токсичный» — ответ, после которого спрашивать больше нечего: не потому, что всё выяснено, а потому, что собеседник переведён из людей в вещества, а к веществам вопросы не задают. Слово, придуманное, чтобы защитить от разрушения, при неразборчивом употреблении само разрушает — ту самую способность, о которой шла речь в первой главе: держать вопрос открытым дольше, чем хочется. Оно даёт готовый ответ и требует не думать.

Реализоваться. В корне — «реальный», от латинского *res*, вещь; реализоваться — стать вещью, обрести действительность. Слово несёт в себе целую метафизику, которую никто не проверял: что внутри человека лежит нечто ещё не действительное, потенциал, зародыш, негатив, — и задача жизни в том, чтобы проявить его, как проявляют плёнку. Отсюда — тревога человека, который «не реализовался»: он чувствует себя виноватым перед вещью, которая якобы лежит в нём и ждёт. А что, если ничего не лежит? Что, если человек — не негатив, который надо проявить, а то, что делается в процессе, и до процесса нет никакого «настоящего меня», перед которым можно провиниться? Этот вопрос мы будем разбирать в главе о «я». Здесь важно только заметить, что слово решило его заранее, без нас, и что миллионы людей платят за это решение чувством, будто опаздывают куда-то, куда, возможно, не надо было идти. Слово создало цель, которой до него не было, и превратило её в долг.

Нормально. Самое частое слово о самочувствии в русском языке и, пожалуй, самое пустое. Оно взято из статистики: норма — это то, что встречается чаще всего, середина распределения. У него нет никакого оценочного содержания: «нормальная» температура тела — не хорошая и не плохая, а типичная. Но в живой речи слово незаметно съехало из статистики

в оценку: «нормально» стало значить «допустимо», «сойдёт», «не о чем говорить». И человек, у которого дела «нормально», перестаёт знать, как у него дела, — потому что слово, которым он о них отчитывается, ничего не описывает, а лишь помечает: не выделяюсь. Оно закрывает зазор между тем, что человек переживает, и тем, что говорит, — не ложью, а нулём. Ложь можно поймать и опровергнуть; ноль не поймать: он не утверждает ничего, и потому его нельзя опровергнуть. Человек говорит «нормально» — и разговор окончен, и он сам не знает, что сказал.

Успех. Мы уже видели, что в этом слове живёт беговая дорожка. Но посмотрите, как оно употребляется: «добиться успеха», «успешный человек», «история успеха» — без дополнения. Успех в чём? По чьему счёту? Слово ходит без предмета, как «победа» без противника, и именно эта пустота делает его таким мощным: каждый вставляет в неё своё, и кажется, что все говорят об одном. Спросите десять человек, что такое успех, — получите десять несовместимых ответов, что-то общее в них будет, но не всё. И при этом все десять живут под этим словом как под единым законом, и всем десяти стыдно, что они его не выполнили. Это слово-контейнер: оно не имеет содержания, но имеет вес, и вес этот давит на жизни, никогда не предъявив, чем именно он наполнен. Человек не может сказать, чего он не достиг, потому что слово не говорит, что именно нужно достичь; он чувствует только, что не достиг — чего-то, что все остальные, кажется, достигли.

Это не худшие слова. Худшие — те, что делят людей на сорта, и о них разговор будет там, где речь пойдёт об обществе. Эти — обыденные, они звучат за ужином, в переписке, внутри головы, и потому опаснее: мышьяк, как заметил Клемперер, действует не разовой дозой, а малыми, ежедневными, которых не замечаешь.

Клетка и ключ

Теперь можно сказать, что же это за зазор между словом и вещью на языке этой книги, и почему он один, а не два.

У животного знак и вещь не существуют порознь. Крик тревоги у обезьяны означает «хищник» так, как дым означает огонь: он привязан к присутствующему, вызван им, следует за ним. Обезьяна не может крикнуть «хищник» о вчерашнем хищнике, о возможном, о воображаемом; не может соврать про хищника — это редко случается и остаётся почти на грани случайности; не может пообещать не кричать. Слово, слитое с вещью, — не язык, а сигнал. Человеческое слово отделилось от вещи, и в промежутке между ними разместилось всё, что отличает нас: способность говорить о том, чего здесь нет — о прошлом, о будущем, о несуществующем; способность лгать; способность обещать — то есть связывать настоящим словом будущий поступок; способность думать — то есть переставлять слова, не переставляя вещей, и так испытывать возможности, не платя за них.

Зазор между словом и вещью — это место, где живёт мысль, и место, где живёт обман, и это одно и то же место. Нельзя получить первое без второго. Существо, которое не может солгать, не может и пообещать. Обман и обещание — две стороны одной способности: способности говорить о том, чего нет. Если слово не может отойти от вещи настолько, чтобы сказать неправду, оно не может отойти и настолько, чтобы пообещать то, чего пока нет.

И, как со всяким зазором, с ним можно сделать две беды.

Первая — схлопнуть: принять слово за вещь. Это делает ребёнок, который верит, что, назвав чудовище, его вызовешь; это делает пропагандист, который знает, что, назвав человека «паразитом», получит право на дезинфекцию; это делает каждый из нас, когда говорит «он лентяй» и дальше видит не человека, а лентяя, — и видит так прочно, что никакие его поступки уже не пробиваются: старание объясняется хитростью, успех — случайностью, слово держит вещь мёртвой хваткой. Сюда же — вера, что если у меня есть слово, у меня есть понимание; иллюзия глубины объяснения из первой главы. Сюда же — магия ярлыка в собственной голове: «у меня тревожность», сказанное так, как будто предъявлен предмет, и предмет этот теперь

всё объясняет и ни к чему не обязывает. Схлопнутый зазор — это мир, в котором слова стали вещами, а вещи перестали быть видны.

Вторая беда — разорвать: решить, что слова ничего не значат. «Это всё просто слова». «Называй как хочешь». «Он пообещал, но мало ли что говорят». Это позиция циника из прошлой главы, перенесённая на язык: раз между словом и вещью нет тождества, значит, нет и связи; раз слово можно повернуть как угодно, значит, оно ни к чему не обязывает. Здесь гибнет обещание — потому что обещание держится ровно на том, что слово связывает; гибнет договор, гибнет точность, гибнет поэзия, гибнет сама возможность сказать правду, поскольку правду можно сказать только там, где слову есть чему соответствовать. Общество, в котором зазор разорван, — не свободное, а глухое: в нём все говорят, и никто ничего не сказал.

Между этими двумя бедами — узкая полоса, на которой стоит человек, знающий, что слово не есть вещь, и знающий, что слово указывает на вещь и отвечает перед ней. Он пользуется словом как челноком — орудием разделения, — помня, что орудие сделано кем-то и может резать неверно; и он проверяет орудие о ткань. Это и значит держать зазор между словом и вещью: не сливать их и не разводить, а держать на расстоянии, на котором видно и то и другое.

Как проверять? Здесь я хочу предложить технику — простую, из трёх вопросов, — которую можно применить к любому слову, имеющему над вами власть, и которая, если применять её честно, разбирает слово до того, из чего оно сделано. Я называю её разбором слова до опыта.

Первый вопрос: на какой опыт указывает это слово? Не что оно значит — что бы я увидел, услышал, почувствовал, сделал, если бы то, что оно называет, было передо мной. Уильям Джеймс, американский прагматист, называл это «наличной стоимостью» понятия: слово надо обменять на опыт, как банкноту на золото, — и если обменять не на что, банкнота фальшивая, сколько бы на ней ни было нулей. Этот вопрос вырезает из слова всё, что оно нахватало помимо опыта: ореол, оценку, чужую интонацию. Он возвращает от «воды» к прохладному нечто на ладони.

Второй вопрос: что это слово скрывает? Это вопрос Ницше. Всякое общее слово — уравнивание неравного; значит, у него есть отброшенное, и полезно посмотреть, что именно отброшено. Какие различия слово стёрло, чтобы стать одним словом? Какую сторону дела оно делает невидимой? Что было бы видно, если бы это называлось иначе — или не называлось совсем? Этот вопрос обнажает колею: он показывает, куда слово тянет и чего не даёт заметить.

Третий вопрос: кто выигрывает от того, что я употребляю это слово? Это вопрос Остина и Клемперера. Слово — акт; у акта есть тот, кому он выгоден. Кто вложил это слово мне в голову? Кому удобно, чтобы я думал о себе, о другом, о положении дел именно этим словом? Что я делаю — или чего не делаю, — когда так называю? Иногда ответ неожиданный: выигрываю я сам, и выигрыш подозрительного свойства — например, освобождение от усилия. Иногда ответ неприятный: выигрывает тот, кто продаёт средство от того, что назвал. Этот вопрос не о заговоре; он о полномочиях. Он спрашивает: кто выдал этому слову право меня определять — и не пора ли отозвать эту доверенность.

Проведём разбор до конца на одном слове, чтобы было видно, как это работает. Возьму слово «неудачник» — одно из тех, что люди носят десятилетиями, обычно молча.

На какой опыт оно указывает? Начинаешь искать — и находишь нечто конкретное и небольшое: два проекта, которые не пошли; развод; должность, которую отдали другому. Три, пять, десять событий. Каждое из них было чем-то определённым — с датами, с причинами, с долей вашего участия и долей обстоятельств. Слово взяло эти события, отбросило даты, причины и обстоятельства, спрессовало остаток и превратило его из череды случаев в свойство лица. Заметьте грамматику: «неудачник» — существительное, имя человека, как «плотник» или «левша»; оно вне времени, оно не о том, что произошло, а о том, кто вы есть. Разложенное

на опыт, оно оказывается не именем, а списком, и список этот конечен и датирован. Никакого «неудачника» в нём нет; есть человек, у которого несколько раз не вышло.

Что оно скрывает? Во-первых, всё, что вышло, — потому что слово подбирает под себя только подтверждающее, как теория Адлера из прошлой главы; успехи, которые не укладываются, оно объявляет случайностью, а неудачи, которые укладываются, — закономерностью. Во-вторых — и это почти смешно, когда замечаешь, — оно скрывает собственное происхождение: корень его — «удача», то есть везение, то, что даётся; слово буквально винит человека за то, что ему не повезло, приписывая жребия статус характера. В-третьих, оно скрывает время: у действительного нет будущего; «неудачник» — это диагноз навсегда, тогда как за ним стоят события, у каждого из которых было «после», и это «после» ещё не написано.

Кто выигрывает? Тот, кто сказал это первым — он в тот момент получил превосходство и, возможно, до сих пор его держит; целая индустрия, которая живёт продажей средств от неуспешности и кровно заинтересована в том, чтобы слово оставалось в обороте; и — самое важное — некая часть вас самих, потому что слово даёт нечто, от чего трудно отказаться: оно освобождает. Неудачнику не надо пробовать; исход известен заранее; сомнение, о котором мы говорили в прошлой главе, обретает неприкосновенный статус. «Я неудачник» — фраза, которая звучит как приговор, а работает как индульгенция. Отзовите у неё полномочия — и придётся выйти на площадку, где можно проиграть.

После трёх вопросов слово, как правило, не выживает — не из-за самовнушения, а от прозрачности: увидев, из чего оно сделано, вы лишаете его силы. Монета не исчезла — с неё стёрлась позолота, и вы держите в руке металл, которым можно расплатиться разве что за отказ от попытки.

То же самое — с любым словом, у которого над вами есть власть. «Должен»: кому именно, с какого момента, кто заключил договор и подписывали ли вы его? «Поздно»: для чего конкретно; кто установил срок; что изменилось бы, если бы это называлось «сейчас»? «Нормально»: что я на самом деле чувствую, когда так отвечаю, и от какого разговора это слово меня избавляет? Техника не отменяет слов — жить без них нельзя, Хелен Келлер это знала лучше нас. Она возвращает словам статус орудий, которые вы держите, а не которые держат вас.

Есть у этого и обратная сторона, столь же важная. Разобрать слово до опыта — половина дела; вторая — найти слово для опыта, у которого его нет. В 2007 году нейрopsихологи из Калифорнийского университета показали испытуемым лица с выраженными эмоциями и попросили одних просто смотреть, а других — подобрать к лицу слово: «гнев», «страх». У тех, кто называл, реакция миндалевидного тела — древней структуры, отвечающей за тревогу, — оказалась заметно слабее. Названное переживание становится переживанием, с которым можно что-то делать: обдумать, сравнить, отложить, рассказать. Неназванное остаётся тем, чем было для Келлер до колонки, — неразличимой массой, которая просто давит.

Половина того, что люди зовут «мне плохо», — это отсутствие второго слова, которое отличило бы одно плохо от другого; и человек, узнавший, что то, что он чувствует, называется «стыд», а не «тревога», уже сделал больше, чем за месяц терзаний, потому что у стыда и тревоги разные причины и разные выходы. Философия, среди прочего, — это словарь, в котором для внутренней жизни есть тысяча слов вместо десяти, и словарь этот дан не для украшения речи, а для того, чтобы у переживания появилась ручка, за которую его можно взять.

Самое сильное возражение

Здесь должен раздаться голос, и я хочу, чтобы он прозвучал в полную силу, потому что он представляет здравый смысл, а здравый смысл в этом вопросе имеет право на слово, чтобы ответ держался на существе.

«Всё это — игра словами, — говорит он. — Реальность не меняется от переименования. Если у меня нет денег, назовите это как угодно — „временные трудности“, „этап“, „вызов“ — денег от этого не прибавится. Если человек десять лет не может ничего довести до конца, ваш

разбор слова „неудачник" на три вопроса — не философия, а утешение: вы предлагаете переклеить ярлык и почувствовать себя лучше, оставив всё как было. Это позитивное мышление в академической оправе — та же старая идея, что достаточно поменять слова в голове, и жизнь переменится, только у вас она завернута в ссылки на Ницше и Витгенштейна. И хуже того — вы даёте оружие тем, от кого сами предостерегали. Именно так и делают: войну называют операцией, увольнение — оптимизацией, пытку — усиленным допросом. Кто научился разбирать слова, тот научился их и собирать — под любой заказ. Ваша техника не различает Клемперера и его врагов. А что до Витгенштейна — вопрос о смысле жизни не исчезает оттого, что вы указали на его грамматику. Толстой в пятьдесят лет прятал от себя верёвку, чтобы не повеситься; вы думаете, его спасла бы лекция о том, что „смысл" — существительное?»

Возражение стоит на трёх ногах, и я отвечу на каждую.

Первое — о переименовании. Критик спутал две операции, идущие в противоположных направлениях, и, по справедливости, спутать их легко, потому что снаружи они похожи: обе имеют дело со словами и вещами. Эвфемизм — то, чем занимаются оруэлловские люди, те, о которых писал Оруэлл, — движется от вещи к слову: берётся горящая деревня и подбирается слово, которое не даст её увидеть. Разбор до опыта движется от слова к вещи: берётся слово и спрашивается, что за ним стоит, пока не покажется деревня. Это не два применения одной техники — это техника и её противоядие.

Проверьте: прогоните «умиротворение» через три вопроса. На какой опыт указывает? — люди с оружием входят в деревню, дома горят, кто-то не выходит. Что скрывает? — именно это. Кто выигрывает? — тот, кто отдал приказ, и тот, кто не хочет увидеть, что отдал. Слово не выживает и трёх секунд. Ровно так же не выживает «оптимизация» и «усиленный допрос». Тот, кто научился спрашивать, что стоит за словом, — самый неудобный человек для того, кто ставит слова так, чтобы за ними ничего не было видно. Клемперер и был этим человеком — человеком, который смотрел на каждую дозу. Его дневник — двенадцатилетний разбор слов до опыта, и именно потому он не отравился, хотя глотал мышьяк вместе со всеми: он смотрел на каждую дозу и называл её.

Второе — о деньгах и о неудачнике. Здесь критик прав в главном и неправ в выводе. Прав: ни одно слово не положит денег на счёт, и никакой разбор не завершит за человека дело, которое он не завершил. Техника не меняет фактов — и не претендует. Она меняет то, через что факты видны, а от этого зависит не сам факт, а следующее действие. «У меня сейчас нет денег» и «я нищий» — одна и та же сумма на счету; но первое — положение, у которого есть «сейчас», а значит, и «потом», и человек ищет, откуда взять; второе — тождество, у которого нет времени, и человек не ищет, потому что нечего искать, он таков. Факт не изменился. Изменилось, будет ли завтра какое-нибудь действие.

Разбор слова «неудачник» — не утешение; утешение оставило бы человека на диване с более тёплым словом. Разбор оставляет его без укрытия: слово, которое избавляло от попытки, разобрано, и теперь неоткуда взять освобождения, кроме как из неё самой. Это противоположность позитивному мышлению: позитивное мышление клеит на рану красивый ярлык; разбор отдирает ярлык, под которым рана могла спокойно не заживать. Если после разбора человек почувствовал себя лучше — это, скорее всего, значит, что он остановился на первом вопросе.

Третье — о Толстом, и здесь я соглашаюсь больше, чем критик ожидает, а потом провожу границу. Нет, Толстого не спасла бы лекция о грамматике, и Витгенштейн этого не утверждал: он говорил, что философские болезни лечатся долго, изнутри, прохождением, а не справкой. Но посмотрите, что произошло с Толстым на самом деле, — он описал это в «Исповеди». Он задавал вопрос «зачем?» — и требовал ответа как предмета: некоего смысла, который лежал бы в жизни, как золото в породе, и который можно предъявить рассудку. Наука не предъявляла, философия не предъявляла, он делал вывод, что смысла нет, и прятал верёвку. А потом он заметил, что миллионы людей — крестьяне, — не имея никакого ответа на его вопрос, живут,

и живут не в отчаянии, и что вопрос «в чём смысл жизни как объект» у них не стоит, а стоит другой: чем жить, — и на этот вопрос у них есть ответ, только не в форме предмета, а в форме жизни.

Толстой не растворил свой вопрос. Он переформулировал его — и переформулировка была не бегством, а спасением. Мучение осталось настоящим: он действительно чуть не умер от него. Но выход из бутылки оказался там, где он не искал, потому что грамматика вопроса заставляла искать не там. Это и есть то, что делает Витгенштейн, и это не отмена вопроса, а его исцеление: после лечения вопрос не исчезает — он перестаёт требовать невозможного. А чего он требует вместо этого — к этому мы придём в главе о смысле, и там придётся снова думать всерьёз, без грамматических облегчений.

И остаток, который я должен признать. Есть то, до чего слова не достают, — и не потому, что мы ещё не подобрали, а потому, что оно не того рода. Молодой Витгенштейн в последней строке «Трактата» написал: о чём невозможно говорить, о том следует молчать, — и это не капитуляция языка, а признание его границы, то самое учёное незнание из первой главы, только в области слов. Разбор до опыта — техника для слов, которые имеют власть, но не имеют содержания. Он бессилен и не нужен перед тем, что имеет содержание больше всякого слова: перед лицом умирающего, перед музыкой, перед некоторыми видами тишины между двумя людьми. Там зазор между словом и вещью нужно держать иначе — не разбирая, а не заполняя. Об этом будет глава о тайне, и она будет короче других, потому что там придётся во многом молчать.

Что уносить с собой

Мы думаем не о мире как таковом, а о мире, уже нарезанном словами, — и нарезку эту делали не мы. Каждое слово — орудие, которое когда-то вырезало вещь из непрерывного потока ощущений; каждое сделано когда-то, кем-то, из какой-то картинки, и картинка, из которой оно родилось, стёрлась, а слово осталось и теперь кажется прозрачным — как будто его и нет, как будто мы видим прямо сквозь него. Сквозь него мы видим — и его не видим. Оно даёт нам мир — так же, как дало его Хелен Келлер у колонки: вода стала водой, кукла — куклой, а она сама — собой.

Но оно же может подсунуть нам вместо мира то, чего в нём не было, — выдать за факт то, что является лишь словом: «лентяя» вместо ребёнка, который просто медленнее других, «неудачника» вместо человека, у которого несколько раз не вышло, «врага» вместо соседа с другими взглядами. Слово не только называет — оно совершает действие, если у говорящего есть на это полномочия: право называть есть право делать, как мы видели у Остина.

А полномочия почти всегда есть — потому что мы раздаём их, не замечая: родителям, учителям, начальникам, любимым, — и потом живём под словами, которые они произнесли.

Держать зазор между словом и вещью — значит не впадать ни в одну из двух бед, о которых шла речь: не схлопывать зазор, принимая слово за вещь, и не разрывать его, объявляя слова пустым звуком. Значит пользоваться словом, помня, что оно сделано. Значит уметь, когда слово начало давить, разобрать его до опыта — задать три вопроса: на какой опыт оно указывает, что скрывает, кому служит, — и увидеть под позолотой металл, как с монетой, с которой стёрлось изображение: она остаётся монетой, но перестаёт быть золотом.

И значит уметь обратное: найти слово там, где его не было, — дать переживанию имя. Не для того, чтобы отделаться от него, а чтобы взять его в руки: названное переживание становится чем-то, с чем можно что-то делать, — обдумать, сравнить, отложить, рассказать.

Язык — клетка, если вы не видите прутьев, и ключ, если видите. Одни и те же слова могут запирать и освобождать. Прутья и ключ сделаны из одного материала — из слов, которые мы получили в готовом виде. Всё различие — в том, куда вы смотрите: на слово или сквозь него, — и в готовности каждый раз, когда слово подсунуло готовый ответ и вы приняли его,

не заметив, вернуть себе решение. Решение — если помните, мы об этом говорили, — значит «развязывание»: не разрубить узел, а распутать его.

Лаборатория: разобрать слово до опыта

Найдите слово, которое над вами властвует. Не чужое — своё, то, которое звучит в голове вашим же голосом и от которого делается тяжело. Чаще всего это одно из трёх. «Должен» — с его бесконечным списком того, что полагается: кому, когда, при каких обстоятельствах, — списком, который никогда не кончается, потому что никто его не составлял целиком. «Поздно» — со всем, что уже якобы упущено: возможности, годы, шансы, — и это «якобы» здесь ключевое, потому что сроки, как правило, никто не назначал. Или существительное, которым вы себя называли когда-то — может быть, в детстве, может быть, после одной неудачи, — и с тех пор не переназывали: «неудачник», «слабый», «сложный», «недостаточно». Возьмите то, что отзывается, — то, от чего внутри что-то сжимается, когда вы это произносите. Одно. Не три, не пять: разбирать надо по одному, иначе получится каша.

Напишите его сверху листа. Под ним — три вопроса, и на каждый отвечайте письменно, не в уме: в уме слово выкрутится, найдёт лазейку, подставит привычное объяснение; на бумаге ему некуда деться — что написали, то написали, и это можно перечитать.

На какой опыт оно указывает? Перечислите конкретное. Если это «должен» — кому именно, что именно, с какого дня, где договор и есть ли под ним ваша подпись. То есть: перед кем вы обязаны, в чём именно состоит обязательство, когда оно возникло, кто его на вас возложил и соглашались ли вы на это. Если «поздно» — для чего в точности; в какой день стало поздно и кто назначил этот день; что вы увидели бы, если бы вместо «поздно» стояло «сейчас». Если это имя — какие именно события в него спрессованы; сколько их; какие у них даты, причины, доля ваша и доля обстоятельств. Пишите, пока слово не рассыплется на случаи. Как правило, случаев оказывается меньше, чем весило слово: слово было тяжелее списка.

Что оно скрывает? Что не вошло — какие события, не подтверждающие слово, оно отбросило как нерелевантные, то есть как не имеющие значения, как исключения, которые не в счёт. Какую сторону положения оно делает невидимой: что вы перестаёте замечать, пока смотрите через это слово. Есть ли в нём время, или оно вынуто из времени и выдаёт себя за вечное: у существительного нет будущего, у «поздно» нет завтра. Из какой картинки оно сделано — и верна ли картинка: вспомните образ, который стоит за словом, и проверьте, соответствует ли он тому, что было на самом деле.

Кто выигрывает? Откуда оно у вас: чей голос вы слышите, когда оно звучит; какие у этого человека были полномочия — то есть какое право он имел вас так называть — и действуют ли они сейчас. Кому удобно, чтобы вы так себя называли. И — честно — что оно даёт лично вам: от какого усилия, разговора, риска, решения оно вас освобождает. Что вам не надо делать, пока вы это слово носите. Этот ответ обычно самый неприятный и самый полезный — потому что показывает, что вы и сами заинтересованы в слове, которое вас мучает: оно не только давит, оно и защищает.

Когда ответите на все три, перечитайте слово наверху листа. Оно будет то же, но вы — уже не внутри него: вы снаружи, вы смотрите на него, а не сквозь него. Не заменяйте его на «позитивное»: это было бы новой позолотой — то же самое, только с другой стороны, и через месяц вы будете так же внутри нового слова. Замените на то, что осталось после разбора, — на список событий, на положение дел, на «сейчас не», на «однажды сказали». И заметьте, что после разбора обычно обнаруживается не облегчение, а задача: то, что слово освобождало от необходимости делать, теперь стоит перед вами без прикрытия. Раньше можно было не проговаривать — «неудачник» всё объяснял; теперь объяснения нет, и осталась только попытка.

Это и есть признак того, что разбор удался. Слово вернулось в разряд орудий: оно снова вещь, которой можно пользоваться, а не вещь, которая пользуется вами. Что делать орудием — решаете вы; и «решать», напомним, значит развязывать.

Глава 4. Логика, её мощь и её пределы

Четыре карты

Перед вами на столе лежат четыре карты. На каждой с одной стороны буква, с другой — цифра. Вы видите: Е, К, 4, 7. Вам сообщают правило: «Если на одной стороне карты гласная, то на другой — чётное число». Какие карты — и только какие — нужно перевернуть, чтобы проверить, соблюдается ли правило?

Не торопитесь. Подумайте.

Большинство людей отвечает: Е и 4. Некоторые говорят: только Е. Это неверно. Правильный ответ — Е и 7. Разберём почему, потому что именно здесь прячется вся суть.

Карту Е надо перевернуть: если за ней окажется нечётное число, правило нарушено — гласная есть, а чётного числа нет. Это очевидно почти для всех.

Карту 7 надо перевернуть: если за ней окажется гласная, правило тоже нарушено — гласная есть, а число нечётное. Это очевидно почти ни для кого. Люди смотрят на семёрку и думают: «При чём тут семёрка? Правило про гласные». Но правило говорит: если гласная, то чётное. Оно не говорит: если чётное, то гласная. Значит, за семёркой может быть что угодно — и если там гласная, правило нарушено. Семёрка — это карта, которая может опровергнуть правило, и именно поэтому её надо проверить.

А карту 4 переворачивать бессмысленно: правило не говорит, что за чётным числом должна быть гласная. Оно говорит только в одну сторону — от гласной к чётному. За четвёркой может быть гласная, может быть согласная — и ни то, ни другое ничего не нарушит. Правило молчит о том, что стоит за чётными числами. Карту К — тем более: про согласные правило не говорит ничего, и за К может быть любая цифра.

Итак, проверять надо только те карты, которые могут нарушить правило: гласную [потому что за ней должно быть чётное] и нечётное число [потому что за ним не должно быть гласной]. Всё остальное — отвлекающий шум. Логика требует искать не подтверждения, а опровержения: не «что подтвердит правило», а «что его ломает». Ум же наш устроен наоборот.

Английский психолог Питер Уэйсон придумал эту задачу в 1966 году, и с тех пор её решали десятки тысяч людей, включая студентов-математиков и профессоров логики. Справляется примерно один из десяти. Это не глупость и не невнимательность: ошибка воспроизводится с чудовищной устойчивостью, и люди, которым показали правильный ответ, через месяц снова ошибаются на похожей задаче. Что-то в нашем устройстве упорно тянет проверять то, что может подтвердить правило, и не тянет искать то, что может его опровергнуть, — хотя логически ценность имеет только второе. Подтверждение не доказывает правило; опровержение его уничтожает. Мы же инстинктивно делаем бесполезное и не делаем полезное.

А теперь другая задача. Вы — охранник в баре. Правило: «Если человек пьёт пиво, ему должно быть больше восемнадцати». Перед вами четверо: один пьёт пиво, другой пьёт колу, третьему двадцать пять лет, четвёртому шестнадцать. Кого проверить?

Вы ответили мгновенно: того, кто пьёт пиво, и того, кому шестнадцать. Это правильно — и это в точности та же задача. Пиво — гласная; кола — согласная; двадцать пять — четвёрка; шестнадцать — семёрка. Логическая структура тождественна до последнего знака: есть условие [гласная / пьёт пиво], есть следствие [чётное число / больше восемнадцати], и надо проверить те случаи, где условие может быть выполнено, а следствие — нет. Но здесь справляются трое из четырёх. Разница — не в логике, потому что логика та же. Разница в том, что во второй задаче есть нарушитель — кто-то, кто может обмануть, получить незаслуженное, — и его наш ум находит без всякого усилия, потому что миллионы лет от этого зависело выживание группы. Обманщик — это угроза; обман надо поймать; тот, кто пьёт пиво, будучи подростком, — обманщик, и мы автоматически ищем его. А в первой задаче никто никого не обманывает

— там просто буквы и цифры, — и ум скучает и промахивается. Одно и то же правило, одна и та же логика, но как только из задачи исчезает человек, способный смухлевать, способность решить её падает в шесть раз.

Из этого маленького опыта следует вывод, который стоит принять до всякой философии: человек — не логическое существо. Логика для нас не естественна, как не естественно письмо или таблица умножения. Мы прекрасно ловим обманщиков, чуем чужие намерения, предсказываем поступки соплеменников — и спотыкаемся на простейшем «если — то», как только из него убирают человека. Мозг создан не для истины. Он создан для того, чтобы его владелец дожил до вечера и оставил потомство; истина в этом деле бывала полезна, но не чаще, чем скорость, страх, сплочённость и умение казаться правым. Наш ум — не инструмент познания, а инструмент выживания, и познание для него — побочный продукт, который иногда оказывается полезен, а иногда мешает.

И тем не менее две с половиной тысячи лет назад в Афинах один человек сел и написал, как именно надо проверять рассуждения, чтобы они были верны независимо от того, кто рассуждает и о чём. Он изобрёл инструмент, которого у нашего вида не было и который наш вид, как показывает Уэйсон, до сих пор носит с трудом. Эта глава — о том, что это за инструмент, как выяснилось, что мы в нём нуждаемся, где он ломается, — и о том, что делать человеку, который знает, что его собственная голова устроена не для истины, а всё-таки хочет до неё добраться.

Орудие, не зависящее от руки

Аристотель написал шесть трактатов о рассуждении, которые потомки собрали под одним названием — «Органон», то есть «орудие». Название точное. До него люди спорили, убеждали, доказывали — но у них не было способа проверить доказательство иначе, чем спросить себя, убедительно ли оно звучит. Убедительность зависела от того, кто говорит, как говорит и на кого говорит; проверить же саму правильность рассуждения, отдельно от всех этих обстоятельств, было нечем. Аристотель первым заметил вещь, которая теперь кажется очевидной, а тогда была переворотом: правильность рассуждения зависит не от того, о чём оно, а от его формы.

Возьмём: все люди смертны; Сократ — человек; следовательно, Сократ смертен. А теперь: все киты — млекопитающие; это животное — кит; следовательно, оно млекопитающее. Содержание разное — Сократ, киты, смерть, молоко. Форма одна: все А суть Б; это — А; следовательно, это — Б. И форма эта надёжна всегда, для любого содержания, для любого человека, в любую эпоху. Если посылки истинны, заключение истинно — не потому, что так кажется, а потому, что иначе быть не может: если действительно все А обладают свойством Б, и если этот предмет действительно есть А, то он не может не обладать свойством Б. Это не мнение, это принуждение.

Средневековые монахи дали этой форме имя Barbara — по первым трём гласным латинских слов, обозначающих её структуру, — и заставляли студентов заучивать её наряду с полтора десятками других; звучит схоластически, а на деле это была первая в истории технология контроля качества мысли, и работала она как любая технология — одинаково в любых руках.

Вот в чём была революция, и её обычно недооценивают. До Аристотеля вес рассуждения зависел от веса рассуждающего: старший, знатный, красноречивый был убедительнее младшего, безродного, косноязычного. Силлогизм уравнивал их. Форма «все А суть Б; это А; значит, Б» одинаково верна в устах царя и раба, и раб, указавший царю на нарушение формы, прав, а царь неправ. Логика — первый институт, который отделил правоту от власти. Это не мелочь: всё, что потом назовут наукой, судом присяжных, аргументированным спором, стоит на этом отделении — на том, что рассуждение можно проверить, не спрашивая, кто его произнёс. До этого правота была свойством человека; после — свойством рассуждения. Это различие кажется малым, но из него выросло всё остальное.

Аристотель понимал и границу своего орудия — понимал так ясно, что стоит удивиться, сколько людей после него этого не понимали. Он специально показывает: из ложных посылок правильная форма может дать истинное заключение. Все камни летают; воробей — камень; значит, воробей летает. Форма безупречна, заключение верно — и оба основания вздор. Логика проверяет сцепление мыслей, а не их правду; она гарантирует, что если вы стартовали с истины, то не сойдёте с неё по дороге, — но она ничего не говорит о том, откуда взять истину для старта. Это машина для перевозки, а не для добычи. Тот, кто загрузил в неё мусор, получит на выходе мусор, доставленный с идеальной точностью. Логика не спасает от заблуждения; она спасает от того, чтобы заблуждение превратилось в противоречие.

И есть у Аристотеля место, где он показывает, что логика — не просто удобство, а условие самой возможности говорить. В четвёртой книге «Метафизики» он берётся защищать закон, который считает самым твёрдым из всех: одно и то же не может одновременно быть и не быть в одном и том же отношении. Доказать его нельзя — всякое доказательство уже опирается на него: чтобы что-то доказывать, нужно, чтобы слова что-то значили, а если одно и то же может быть и не быть, то ни одно слово ничего не значит. Но Аристотель предлагает другое: пусть тот, кто отрицает закон противоречия, скажет что-нибудь. Что угодно — лишь бы определённое. Как только он произнёс «это стол», он утверждает, что это стол, а не не-стол, — и закон соблюден. Если же он отказывается сказать что-либо определённое, то с ним и спорить не о чем: такой человек, замечает Аристотель, ничем не лучше растения. Это не оскорбление, а диагноз. Существо, для которого нет разницы между «да» и «нет», не мыслит и не говорит; оно шумит. Закон противоречия — не правило, которому мысль подчиняется, а граница, за которой мысли нет.

Орудие Аристотеля оказалось таким прочным, что простояло без переделок дольше любой человеческой постройки. В 1787 году Кант, человек, взорвавший половину философии, писал в предисловии ко второму изданию своей главной книги, что логика со времён Аристотеля не смогла сделать ни шага вперёд — и, судя по всему, является наукой законченной. Он ошибся, но ошибся на девяносто лет: в 1879 году немецкий математик Готлоб Фреге показал, что силлогистика Аристотеля — лишь малый угол гораздо большего здания, и заложил современную логику, из которой потом вырастут теория вычислений и компьютеры. Фреге ввёл понятие переменной, квантора, функции — и оказалось, что аристотелевская логика описывает лишь один частный случай куда более общей системы.

Аристотелев силлогизм сегодня лежит в каждом телефоне — в виде транзисторов, переключающих «если — то» миллиарды раз в секунду. Орудие, отделённое от руки, в конце концов отделилось от человека совсем — и в этом есть смысл, к которому мы вернёмся: оно работает потому, что не зависит от того, кто его держит. Логика — первый инструмент, который можно передать другому, не потеряв его, и который работает одинаково хорошо в любой руке. Именно поэтому она смогла стать основой машин: машине нельзя доверять интуицию, но можно доверить форму.

Неровное зеркало

Полторы с лишним тысячи лет европейцы учились мыслить по «Органону» — своду логических трактатов Аристотеля, который считался непревзойдённым инструментом правильного рассуждения. И в 1620 году английский лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон выпустил книгу, само название которой было объявлением войны: «Новый Органон». Он не отрицал силлогизм — он отрицал, что силлогизм способен дать человеку то, что тот ищет. Он не говорил, что силлогизм неверен; он говорил, что силлогизм бесплоден для главной задачи — открытия нового знания. Логика Аристотеля, писал он, годится, чтобы побеждать в спорах, но не годится, чтобы открывать природу: она умеет вывести из посылок то, что в них уже заложено, — а вот откуда брать сами посылки, молчит.

Силлогизм — это машина для вывода следствий из уже известных посылок. Но сами посылки он не создаёт. А если посылки взяты из головы, то и выводы будут лишь повторением того, что уже было в голове, включая её ошибки. Люди берут посылки из головы, а голова обманывает.

Тут Бэкон делает то, чего не делал никто до него: составляет опись способов, которыми человеческий ум обманывает сам себя. Он называет их идолами — ложными образами, которым разум поклоняется, не замечая. Слово «идол» здесь означает не изваяние, а навязчивый образ, предрассудок, который ум принимает за самую реальность. Бэкон различает четыре рода таких идолов.

Идолы рода — те, что коренятся в самой природе человека, свойственны всем людям как биологическому виду. Человеческий ум, пишет Бэкон, подобен неровному зеркалу: он не отражает вещи как есть, а искажает их своей собственной формой. Он склонен предполагать в мире больше порядка, чем там есть; он, раз приняв мнение, притягивает к нему всё остальное, а противоречащее либо не замечает, либо отбрасывает как исключение; он более движим утверждениями, чем отрицаниями, — то есть замечает случаи, когда предсказание сбылось, и пропускает случаи, когда не сбылось.

Бэкон приводит историю, которая старше его на два тысячелетия. Некому человеку в храме показали доски с обетными надписями тех, кто дал обет богам и спасся при кораблекрушении, — вот, дескать, доказательство, что боги слышат. Человек спросил: а где написаны имена тех, кто дал обет и всё равно утонул? Это и есть идол рода в чистом виде: выжившие оставляют доски, утонувшие — нет, и ум, считающий доски, приходит к выводу, которого не заслуживает. Через триста с лишним лет статистики назовут это ошибкой выжившего; Бэкон описал её, не имея ни статистики, ни имени.

Идолы пещеры — искажения, свойственные не роду, а особи: у каждого своя пещера — воспитание, темперамент, любимые авторы, привычки ремесла, — и из неё он смотрит на мир, принимая тени на своей стене за очертания вещей. Метафора пещеры взята у Платона, но Бэкон использует её иначе: у каждого человека своя пещера, свой узкий угол зрения, и он принимает то, что видит из этого угла, за полную картину мира. Мы видели это в первой главе: гончар, знающий горшки, судит о богах по горшечной мерке — то есть переносит мерки своего ремесла на всё остальное.

Идолы площади — те, что рождаются из общения, из слов. Бэкон считал их самыми докучными, и вся предыдущая глава была, в сущности, о них: слова навязываются разуму из обихода толпы, они означают вещи плохо и путано, и учёные люди, думая, что спорят о вещах, на деле спорят о словах. Ум, вооружённый негодным словом, будет со всей логической строгостью рассуждать о том, чего нет. Слова создаются толпой, они неточны, многозначны, часто не соответствуют реальным различиям вещей. И люди, используя эти слова, думают, что обсуждают вещи, а на самом деле спорят о словах.

Идолы театра — целые системы, философские учения, принятые на веру: они, говорит Бэкон, подобны театральным пьесам — вымышленные миры, в которых всё стройно и ничего не проверено, и человек, вошедший в такой театр, видит потом всё сквозь его декорации. Это готовые философские системы, религиозные доктрины, научные теории, которые принимаются целиком, как пьеса, в которую погружаются. В них всё логично и красиво устроено, но это вымышленный мир, не проверенный опытом. Человек, принявший такую систему, начинает видеть реальность через её декорации, и всё, что не вписывается, отбрасывается или перетолковывается.

Опись Бэкона поражает не только точностью, но и выводом, который он из неё делает. Раз ум — неровное зеркало, бесполезно требовать от него, чтобы он был ровным. Ему нужны подпорки — то, что Бэкон называет помощью: инструменты, вроде подозрительной трубы, которые видят там, где глаз обманывается; метод, который заставляет собирать не только подтвержде-

ния, но и отрицательные случаи; эксперимент, который задаёт природе вопрос так, что она вынуждена ответить, а не так, что человек услышит то, что хотел.

Не доверять уму — и потому его оснастить. Это и есть программа, из которой выросла экспериментальная наука. Бэкон говорил, что рука без орудия и ум без метода одинаково бессильны, — и умер, верный своему принципу: в апреле 1626 года, проезжая заснеженным полем, он решил проверить, замедляет ли холод гниение мяса, купил у крестьянки курицу, набил её снегом — простудился и через несколько дней скончался. Первый систематик человеческих заблуждений погиб от эксперимента, и в этом нет насмешки: он предпочёл проверить, а не предположить.

Голубь и разреженный воздух

Аристотель дал орудие; Бэкон показал, что рука, держащая орудие, дрожит. Оставалось спросить о самом орудии: а нет ли у него собственных пределов — не потому, что рука дрожит, а потому, что оно так устроено? Может быть, логика не только не спасает от всех ошибок, но и сама где-то кончается, и за этой границей начинает производить не истину, а видимость истины? Ответил Кант, и ответ его — одно из самых глубоких открытий, когда-либо сделанных о человеческом разуме.

В начале «Критики чистого разума» есть образ, который нужно держать в уме, чтобы понять всё остальное. Лёгкий голубь, рассекая крыльями воздух и чувствуя его сопротивление, мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему летать было бы куда легче. Он ошибся бы: воздух, который сопротивляется, и есть то, что его держит. Без воздуха птица не полетела бы быстрее — она не полетела бы вообще. Так и разум, говорит Кант: он чувствует, что опыт его ограничивает, и воображает, что, покинув опыт, полетит свободнее — к Богу, к началу мира, к бессмертию души. Но опыт был не преградой, а опорой, и, покинув его, разум не летит, а падает — только падение это выглядит как полёт, потому что падать в пустоте не обо что: нет точки, по которой можно было бы заметить, что ты падаешь. Разум, вышедший за пределы опыта, не встречает сопротивления и потому думает, что движется свободно, тогда как на самом деле он просто теряет опору.

Как разум обнаруживает, что покинул опыт? Кант находит симптом, и симптом этот безошибочен: разум начинает противоречить сам себе. В разделе, названном «Антиномия чистого разума», он берёт четыре великих вопроса и по каждому строит два доказательства — тезиса и антитезиса, — одинаково строгих. Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве — доказано. Мир не имеет начала и бесконечен — доказано. Всё состоит из простых частей — доказано. Простого не существует, всё делимо до бесконечности — доказано. В мире есть свободная причинность — доказано. Всё происходит по законам природы, и никакой свободы нет — доказано. Есть безусловно необходимое существо — доказано. Такого существа нет — доказано. Восемь безупречных рассуждений, попарно уничтожающих друг друга. Каждое из них построено по всем правилам логики, которую до Канта считали непогрешимой, — и вот она сама, без всякого внешнего врага, приходит к двум противоположным выводам с одинаковой убедительностью.

Что это значит? Не то, что логика сломалась: каждое доказательство в отдельности верно, и в каждом нельзя найти ошибки. И не то, что истина посередине: между «мир имеет начало» и «мир не имеет начала» середины нет — мир либо имеет начало, либо не имеет, третьего не дано, как между «жизнь» и «смерть». Кант делает вывод, к которому до него никто не приходил. Если на вопрос можно одинаково строго ответить «да» и «нет», значит, в вопросе что-то не так — не в ответах, а в самом вопросе. Разум применил понятия, которые работают только внутри опыта — причина, целое, начало, — к тому, что опытом быть не может: к миру как целому.

Понятие «начало» имеет смысл, когда есть время до и время после: мы говорим «началось в три часа», потому что до трёх было два, а после трёх — четыре. Спрашивать о начале самого времени — значит требовать «до» там, где «до» не определено, потому что до времени не было времени. Это как спросить, что находится к северу от Северного полюса. Антиномия — не поражение разума, а его сигнальная лампа: она загорается ровно там, где мысль вышла за границу, в пределах которой имеет право на ответ.

Отсюда — задача, которую Кант поставил философии и назвал критикой: разум должен судить самого себя, установить, где кончается его юрисдикция, и не выдавать приговоров за её пределами. Это тот же ход, что у Сократа с незнанием и у Кузанца с многоугольником, но сделанный внутри самой логики: орудие, обращённое на орудие. Сократ показал, что знание начинается с признания незнания; Кузанец показал, что всякое знание конечно, а истина бесконечна; Кант показывает, что сам разум имеет границу, и за этой границей его доказательства теряют силу, хотя выглядят так же строго, как внутри. И у него есть следствие для повседневной жизни, которое Кант не разворачивал, а стоило бы.

Когда вы обнаруживаете, что можете одинаково убедительно доказать себе две противоположные вещи — что надо уйти и что надо остаться, что он вас любит и что не любит, что вы правы и что виноваты, — это редко означает, что не хватает доводов. Чаще это означает, что вопрос поставлен на том уровне, где ответа нет, и его надо переставить. Не искать более сильный аргумент за одну из сторон, а спросить, что за понятие обе стороны употребляют так, будто оно определено, — и не оказалось ли оно там, как «начало» в вопросе о начале мира. Может быть, «уйти» и «остаться» — не два ответа на один вопрос, а два разных вопроса, которые вы слили в один. Может быть, «любит» и «не любит» — не два полюса одного чувства, а два разных чувства, которые вы пытаетесь измерить одной меркой. Антиномия в личной жизни — не признак того, что вы запутались, а признак того, что вы ищете ответ не на том уровне.

Заметьте, кстати, что третья антиномия — свобода против причинности — осталась висеть с тех пор, и мы к ней вернёмся, когда будем говорить о свободе. Кант считал, что разрешил её, и в некотором смысле разрешил — разведя обе стороны по разным этажам: мир явлений подчинён причинности, а мир вещей в себе — свободе. Но сама её неснимаемость на одном этаже — вещь, которую стоит запомнить: есть вопросы, где противоречие не исчезает от лучшего аргумента, потому что оно не логическое, а структурное. Не потому, что мы плохо думаем, а потому, что так устроен предмет.

И это, возможно, самый важный урок Канта: не всякое противоречие — признак ошибки; иногда это признак того, что мы добрались до границы, за которой кончаются наши понятия, и самое честное, что можно сделать, — это признать границу и не выдавать её за решение.

Противоречие как двигатель

Гегель прочёл кантовские антиномии и сделал из них вывод, обратный кантовскому. Кант, столкнувшись с противоречием, отступил: здесь разуму нельзя. Гегель сказал: здесь разум как раз и начинается.

Его мысль сложнее и темнее едва ли не всего в истории философии, и я не буду делать вид, что она умещается в несколько абзацев. Но одну её жилу вытащить можно, и жила эта прочная. Гегель заметил: противоречие — не досадный сбой, случающийся с мыслью на границах. Это способ, которым мысль движется всегда, — просто внутри опыта это движение не бросается в глаза, а на границах становится видно. Всякое определённое понятие, говорит он, содержит в себе своё отрицание: «конечное» определено через «бесконечное», без которого оно не было бы конечным; «господин» — через «раба», без которого он не господин; «свобода» — через принуждение, от которого она свободна. Мысль, взяв понятие всерьёз и доведя его до конца, натывается на то, что оно переходит в противоположное, — и вот тут у мысли два пути. Можно остановиться и объявить противоречие пределом, как Кант. А можно пойти дальше и

найти понятие шире, в котором обе стороны уместятся — не как компромисс, а как моменты одного целого, каждый на своём месте.

Для этого движения Гегель берёт немецкое слово *Aufhebung*, у которого три значения сразу: отменить, сохранить и поднять. Противоречие снимается так, что обе стороны и отменены в качестве последних слов, и сохранены в качестве необходимых моментов, и подняты на ступень, откуда видно, зачем нужна была каждая. Школьная формула «тезис — антитезис — синтез», которую приписывают Гегелю, ему не принадлежит и огрубляет дело: синтез звучит как усреднение, а Гегель имел в виду рост. Гусеница и бабочка не усредняются в нечто среднее; бабочка — это гусеница, которая отрицала себя и через отрицание стала тем, чем была с самого начала.

Что из этого взять человеку, не собирающемуся читать «Науку логики»? Одно, но важное. Когда вы обнаруживаете в себе противоречие — вы одновременно убеждены в двух несовместимых вещах и не можете отказаться ни от одной, — не всегда это признак ошибки, которую надо устранить, выбрав сторону. Иногда это признак того, что понятие, которым вы думаете, мало и должно вырасти. Человек уверен, что любовь — это принимать другого таким, каков он есть, и что любовь — это желание, чтобы он стал лучше. Эти вещи противоречат друг другу, и можно годами метаться между ними, поочерёдно обвиняя себя то в потакании, то в требовательности. А можно заметить, что оба убеждения — моменты чего-то более широкого, чего сам человек ещё не назвал, и что задача не выбрать, а дорасти.

Гегелевский урок — в том, что противоречие может быть не тупиком, а указателем: думай дальше, здесь понятие тесно. И в том, что истина — не точка, а путь, вместивший в себя ошибки, через которые к ней шли; «истинное есть целое», говорил он, и целое включает свои отрицания как пройденные ступени, а не выкидывает их.

Осторожность здесь нужна та же, что и с сомнением во второй главе. Гегелевская мысль соблазнительна тем, что позволяет объявить любое противоречие «диалектическим» и тем самым не решать его. Это подделка. Настоящее снятие — тяжёлая работа, в результате которой появляется новое понятие, объясняющее, почему обе стороны были правы и в чём каждая была неполна; если такого понятия не появилось, а есть только слово «диалектика», противоречие не снято, а прикрыто. Гегель даёт право не выбирать сторону — но только в обмен на обязанность построить целое.

Предложение, которое говорит о себе

Осталась последняя граница, и провёл её не философ, а двадцатипятилетний математик из Вены — и провёл так, что после него думать о логике по-старому стало нельзя.

К началу двадцатого века математики решили навести окончательный порядок в собственном доме. Великий Давид Гильберт сформулировал программу: построить формальную систему — набор аксиом и правил вывода, — из которой выводились бы все истины арифметики, и доказать средствами самой этой системы, что она непротиворечива. Тогда математика стояла бы на собственных ногах: замкнутая, полная, сама себя проверившая. Это была мечта Аристотеля и Декарта, доведённая до последней строгости, — разум, обосновавший себя целиком изнутри.

В 1931 году Курт Гёдель опубликовал статью, которая эту мечту закрыла. Он показал: любая непротиворечивая формальная система, достаточно богатая, чтобы вместить арифметику, содержит истинные утверждения, которые внутри неё недоказуемы. И более того — такая система не может доказать собственную непротиворечивость своими же средствами. Приём, которым он это сделал, гениален и прост по замыслу: он научился кодировать утверждения о системе числами внутри самой системы и построил утверждение, которое говорит о себе — «это утверждение недоказуемо». Если оно доказуемо, система доказала ложь, и она противоречива. Если недоказуемо — оно истинно, и вот истина, до которой система не дотягивается.

Третьего не дано. Аристотелев закон исключённого третьего, применённый к самой логике, обнаружил в ней дыру.

Что это значит — и чего не значит.

Не значит, что математика ненадёжна или что «всё относительно»: теоремы, доказанные вчера, остаются доказанными и сегодня. Не значит, как любят говорить, что «разум бессилён»: свою теорему Гёдель доказал средствами разума, и это одно из самых сильных его достижений. Не значит, вопреки многим популярным книгам, что человеческий ум «выше машины»: этот вывод из теоремы не следует, и сам Гёдель был осторожнее своих толкователей. Значит же вот что: ни одна достаточно богатая система мысли не может обосновать себя изнутри целиком. Всегда останется истина, которую видно только снаружи, и всегда останется вопрос о надёжности целого, на который само целое ответить не может. Чтобы оценить систему, приходится встать вне её. А встав вне, ты уже находишься в другой системе — к которой относится всё то же самое. Замкнутого, самодостаточного разума, о котором мечтали Гильберт и Декарт, не существует. Не потому, что мы слабы, а потому, что так устроена сама структура вывода.

Это математическая форма того, что Кузанец говорил о многоугольнике и круге, а Кант — о голубе: у орудия есть предел, и предел этот виден только с помощью самого орудия.

И у этого есть судьба, о которой нельзя не сказать, потому что она слишком точна, чтобы быть случайной. Гёдель, величайший логик со времён Аристотеля, к концу жизни был убеждён, что его хотят отравить. Он ел только то, что готовила его жена Адель. Когда в конце 1977 года её надолго положили в больницу, он перестал есть. В январе 1978 года он умер в Принстоне; в свидетельстве о смерти написано: истощение, вызванное расстройством личности. Человек, доказавший, что логика не может обосновать себя изнутри, погиб от убеждения, до которого никакая логика не дотянулась.

Я привожу это не как курьёз. Это самая честная иллюстрация всего, о чём эта глава: орудие, отделённое от руки, совершенно; рука остаётся тем, чем была.

Что мы знаем теперь

Бэкон составил опись идолов, опираясь на интроспекцию и наблюдения за современниками, — не экспериментами и статистикой, но силой проницательности. Через триста пятьдесят лет его опись проверили, и оказалось, что он был прав почти во всём и лишь в одном оказался недостаточно радикален.

В 1974 году два израильских психолога, Даниэль Канеман и Амос Тверски, опубликовали в журнале *Science* статью о том, как люди судят в условиях неопределённости. Они показали, что человек не рассуждает по правилам вероятности даже приблизительно — он пользуется быстрыми эвристиками, которые обычно работают и систематически ошибаются в предсказуемых местах. Проще говоря, вместо счёта по формуле мозг хватается за первое, что подворачивается под руку, и в большинстве бытовых случаев этого хватает; но там, где цена ошибки высока, привычка хвататься за первое попавшееся решение, объяснение подводит.

Вот как это выглядит в опытах. Человек оценивает вероятность события по тому, как легко оно приходит на ум, — и потому боится самолётов больше автомобилей: авиакатастрофу показывают по всем каналам, она яркая и запоминается, а статистика, по которой на дорогах гибнет в сотни раз больше людей, в голове не всплывает, потому что скучна и невидима. Это называется эвристикой доступности: чем легче пример, тем выше кажется вероятность.

Дальше — знаменитая задача про Линду, из-за которой Канемана с Тверски и запомнили. Испытуемым описывали выдуманную женщину: Линда, тридцать один год, прямая и открытая, в университете изучала философию, в студенчестве участвовала в демонстрациях против ядерного оружия и в защиту прав женщин. После этого спрашивали: что вероятнее — [а] Линда работает кассиром в банке; [б] Линда работает кассиром в банке и активно участвует в феминистском движении? Большинство выбирало второй вариант — он же явно больше похож на Линду! — хотя второй вариант невозможен без первого: любая «кассир и феминистка»

автоматически «кассир», и прибавить к профессии ещё одно качество можно только сузив круг, а значит, уменьшив вероятность. Ошибка настолько устойчивая, что её называли ошибкой конъюнкции: подробность и правдоподобие подменяют в голове математику, и детальный портрет кажется вероятнее скупого.

Третий опыт — про якорь. Канеман и Тверски крутили перед испытуемым колесо рулетки, которое выдавало то десять, то шестьдесят пять, а потом спрашивали, какой процент африканских стран входит в ООН. Люди, которым выпало десять, в среднем отвечали «двадцать пять процентов», люди, которым выпало шестьдесят пять, — «сорок пять». Случайное число не имело никакого отношения к вопросу, но оно оседало в голове якорем, и от него человек отсчитывал дальше. Отсюда правило: первое число в разговоре — даже взятое с потолка — задаёт рамку всему торгу, и тот, кто его произносит, уже наполовину выиграл.

За следующие десятилетия таких искажений описали больше сотни, и Канеман в 2011 году свёл всё это в книгу «Думай медленно, решай быстро», где предложил различать две системы мышления: быструю, автоматическую, интуитивную — и медленную, требующую усилий, рассуждающую. Первая работает всегда, сама собой и бесплатно; вторая включается неохотно, устаёт, и её легко усыпить. Мы живём первой и думаем, что живём второй.

Теперь про имена. Чтобы проверить свою догадку про доступность, Тверски и Канеман дали участникам четыре списка имён. В двух списках было по девятнадцать известных мужчин и по двадцать менее известных женщин, в двух других — наоборот, девятнадцать известных женщин и двадцать менее известных мужчин. Списки специально составили так, чтобы женщин и мужчин было больше в тех категориях, где они менее знамениты. Участников разделили на две группы: одних попросили вспомнить как можно больше имён, других — просто сказать, каких имён в списках больше. И в обеих группах люди называли и оценивали как более частые именно имена знаменитостей — хотя по факту их было меньше. Знаменитое имя всплывает в памяти само, без усилий, и мозг делает вывод: раз вспомнилось легко, значит, таких много.

Это и есть эвристика доступности в чистом виде: лёгкость припоминания подменяет статистику. Отсюда же и страх самолётов: авиакатастрофу показывают по всем каналам, она яркая и запоминается, а статистика, по которой на дорогах гибнет в сотни раз больше людей, в голове не всплывает, потому что, да, правильно, скучна и невидима.

К той же породе ошибок относится и другая, которую описали уже не Канеман с Тверски, а их коллеги, психологи Хэл Аркес и Кэтрин Блюмер, в 1985 году. Сценарий такой. Представьте: вы купили билет на горнолыжную поездку в Мичиган за сто долларов. Или другие города подставьте, которые вам лучше знакомы. Через некоторое время вам подворачивается поездка в Висконсин, которая, как вы точно знаете, будет интереснее, — и вы покупаете билет и туда, за пятьдесят. А потом выясняется, что даты совпадают, и выбрать надо одну. Оба билета невозвратные. Куда вы поедете? Большинство — и это устойчивый результат, повторённый много раз, — выбирают Мичиган: дороже, жалко терять сотню. Хотя едут в итоге туда, где будет скучнее, и теряют не только сотню, но и собственный отпуск. Это называется ошибкой невозвратных затрат: вложенное — деньги, время, силы — давит на решение сильнее, чем реальная выгода от того, что ещё впереди. Дальше в главе это нам очень пригодится: именно на этой ошибке стоит вся индустрия, которая продаёт вам «продолжение», потому что вы уже вложились. Логика говорит — бросайте и уходите туда, где лучше. Голос в голове говорит — но я же столько потратил. Голос в голове побеждает.

Есть и эксперимент про то, как одна и та же ситуация меняет смысл от одной только формулировки. Испытуемым говорили: представьте, что страна готовится к вспышке редкой болезни, которая, по прогнозам, убьёт шестьсот человек. Есть две программы. Программа А: двести человек будут спасены. Программа Б: вероятность один к трём, что спасутся все шестьсот, и вероятность два к трём, что не спасётся никто. Большинство выбирало программу А — надёжные двести жизней. Но другой группе ту же задачу давали в других словах. Программа

А: четыреста человек умрут. Программа Б: вероятность один к трём, что никто не умрёт, и вероятность два к трём, что умрут все шестьсот. Теперь большинство выбирало программу Б — рискованную. Хотя программы в обоих случаях одинаковы, люди предпочитают разное в зависимости от того, как было сказано «спасены» или «умрут». Это эффект фрейминга: не то, что сказано, а как сказано решает, куда качнётся выбор. В бизнесе это оружие: один и тот же контракт можно продать как «гарантию защиты» и как «страховку от потерь», и люди будут голосовать кошельком по-разному.

Возникает вопрос: почему абстрактная логика у нас буксует, а социальная работает? Ответ дала психолог Леда Космидес в 1989 году. Она показала: в мозгу есть специализированный механизм обнаружения обманщиков — того, кто берёт выгоду, не заплатив положенного. Механизм этот срабатывает на социальные правила и молчит на буквы и цифры. Там, где от правильного вывода зависело выживание племени, природа инструмент встроила; там, где надо рассуждать про абстракции, — не встроила, потому что за миллион лет эволюции это никому не понадобилось. Бэкон говорил, что ум — неровное зеркало; выяснилось, что он и не зеркало вовсе, а набор инструментов под конкретные задачи, ни один из которых не был задуман как инструмент истины.

В 2011 году когнитивисты Юго Мерсье и Дан Спербер предложили объяснение, которое собирает всё это воедино и переворачивает привычный взгляд на само рассуждение. Если разум так плох в поиске истины — если он систематически ищет подтверждения и игнорирует опровержения, — то, может быть, он и не для этого? Их гипотеза, которую так и называют — аргументативной теорией рассуждения, — звучит так: способность рассуждать возникла в эволюции не для того, чтобы одинокий индивид добирался до истины, а для того, чтобы люди убеждали друг друга и оценивали чужие доводы. Рассуждение — социальный орган, как рука или глаз. Отсюда и склонность к подтверждению: адвокат, ищущий доводы за свою позицию, — не сломанный судья, а хорошо работающий адвокат. Отсюда и поразительный факт, что люди, рассуждая в одиночку, решают те же уэйсоновские задачи плохо, а обсуждая их в небольшой группе, где каждый может возразить, — хорошо: сам человек не находит своих ошибок, зато отлично находит чужие, и двое, обменивающиеся доводами, вместе оказываются гораздо ближе к истине, чем каждый в отдельности.

Разум — не судья, а участник процесса; и справедливый приговор получается не тогда, когда участник честен, а тогда, когда есть другая сторона.

И последнее, самое неудобное. Естественно было бы думать, что от всего этого спасает интеллект: умный человек искажается меньше. Это не так, и это показано неоднократно. Группа Дэна Кахана из Йеля давала людям задачу на интерпретацию таблицы с числами — простая работа: посмотреть на цифры и сделать вывод. Когда таблица была про крем от сыпи, люди с высокой числовой грамотностью решали её лучше. Когда ту же таблицу, с теми же числами, представляли как данные о влиянии контроля за оружием на преступность, картина переворачивалась: люди с высокой грамотностью решали задачу верно, только если правильный ответ совпадал с их политическими взглядами, и ошибались, если не совпадал. И чем выше была грамотность, тем сильнее было расхождение.

Ум не защищает от предвзятости. Ум её вооружает: даёт более изощрённые средства доказать себе то, что и так хотелось. Психолог Кит Станович показал то же самое на десятках задач: склонность оценивать доводы в пользу своей стороны как более убедительные почти не связана с интеллектом; блестящие люди делают это блестяще. Бэкон, при всей своей проницательности, полагал, что идолы можно изгнать. Оказалось, что можно лишь построить вокруг них ограждение — и что самые опасные идолы прячутся именно у тех, кто уверен, что уже изгнал их.

Из всего этого следует вывод, к которому и вела вся глава. Логика — протез. Не природная способность, которую надо развивать, а внешнее приспособление, которое надо надеть —

сознательно, усилием, каждый раз заново, зная, что тело будет сопротивляться. Она работает именно потому, что ей всё равно, кто её держит: силлогизм не знает, кому выгодно заключение, — и в этом равнодушии его ценность, потому что всё остальное в нас знает, кому выгодно, и подстраивается. Протез не срастается с телом. Гёдель это доказал, а потом продемонстрировал.

Зазор между убедительным и верным

Теперь можно назвать зазор этой главы. Он проходит между двумя вещами, которые ощущаются изнутри как одна: между тем, что убедительно, и тем, что верно.

Убедительность — чувство. Оно производится быстрой системой, бесплатно и мгновенно, по критериям, которые не имеют отношения к истине: привычно ли, приятно ли, совпадает ли с тем, что я уже думаю, легко ли представить, говорит ли это человек, который мне нравится. Верность рассуждения — это то, что проверяется на всём его пути: истинны ли посылки и правилен ли переход к выводу. Это две разные проверки, и одна не заменяет другой: переход может быть правильным и при ложной посылке, но тогда правильный переход сам по себе не гарантирует истинность вывода. Поэтому одной безупречной формы мало. Эту верность нельзя почувствовать; её можно только проверить, шаг за шагом, медленной системой, которая включается неохотно. Между убедительностью и верностью нет никакой естественной связи. Верное рассуждение часто ощущается неубедительным — теорема, противоречащая интуиции; убедительное часто неверно — как почти любая речь, после которой хочется встать и идти. Здоровый ум держит эти две вещи порознь и никогда не принимает первое за свидетельство второго.

Схлопывание этого зазора — самое распространённое умственное заболевание, и у него две формы, зеркальные, как у всех зазоров этой книги. Первая: «мне это очевидно, значит, это так». Человек принимает силу чувства за силу довода, и чем сильнее уверен, тем меньше проверяет, — мы видели в первой главе, что жар в споре почти всегда выдаёт мнение, а не знание. Вторая: «мне это неприятно, значит, это неверно». Человек отвергает вывод потому, что тот колет, — и не замечает, что боль довода не имеет отношения к его правильности. Обе формы — работа бэконовского неровного зеркала. И обе неотличимы от мышления — что изнутри, что снаружи: и там и здесь они выглядят как оно.

Разрыв зазора — противоположная беда, реже встречающаяся, но не менее вредная: убеждение, что раз ум устроен так плохо, то и полагаться на рассуждение нечего, всё равно каждый верит во что хочет. Это цинизм второй главы, перенесённый на логику. Он ложен по той же причине: из того, что рука дрожит, не следует, что скальпель бесполезен; следует, что нужна опора для руки. Люди, проваливающие уэйсоновские карты, решают их в группе; люди, не видящие своих ошибок, отлично видят чужие. Значит, орудие работает — надо только правильно его приложить.

Как приложить? Ответ вытекает из открытия Мерсье и Спербера, и он неожиданно прост. Если разум — орган спора, а не орган истины, то к истине он приходит не тогда, когда честно старается, а тогда, когда есть спор: когда каждому доводу противостоит другой, и обоим приходится выдерживать проверку. Природа не дала человеку внутреннего оппонента. Она дала ему адвоката и рассчитывала, что оппонент найдётся снаружи. Но снаружи он находится не всегда — а в собственной голове, где принимаются самые важные решения, не находится никогда. Значит, его надо построить. Это и есть протез в точном смысле: искусственный орган, замещающий отсутствующий.

Я называю эту конструкцию мыслью в три такта, и она проста настолько, что её легко недооценить.

Первый такт — тезис. Вы формулируете то, что думаете. Не смутно, а так, чтобы можно было возразить: «эту работу надо бросить», «он поступил подло», «этот метод не работает». Формулировка должна быть достаточно определённой, чтобы быть неправой, — иначе она, как теория Адлера из второй главы, совместима со всем и ни о чём не говорит.

Второй такт — самое сильное возражение. Не самое удобное, не первое попавшееся, не карикатура, которую легко опрокинуть, — а такое, какое выставил бы самый умный человек, искренне убеждённый в обратном. Такое, под которым он подписался бы. Такое, от которого вам становится не по себе. Это такт, до которого не доходит большинство человеческих рассуждений — не потому, что люди ленивы, а потому, что орган, которым мы рассуждаем, для этого не приспособлен: адвокат не пишет речь обвинителя, а если пишет, то слабую, чтобы её удобнее было разбить. Заставить себя написать сильную — усилие противоестественное, и потому оно и есть мышление, а не его имитация.

Третий такт — то, что выжило. Иногда выживает тезис, но уже не тот: очищенный, уточнённый, с оговорками, которых не было. Иногда выживает возражение, и это значит, что вы были неправы и узнали об этом раньше, чем узнала жизнь. Чаще всего выживает нечто третье — то, чего не было ни в тезисе, ни в возражении, что появилось только оттого, что они столкнулись: гегелевское снятие в домашнем масштабе. И очень редко не выживает ничего — оба довода стоят непоколебимо, и это кантовский сигнал: вопрос поставлен не на том уровне, — ищите понятие шире, в котором оба довода окажутся моментами одного целого.

Три такта — не изобретение, а сведение воедино того, что лучшие умы делали всегда. Дарвин пишет в автобиографии, что много лет следовал золотому правилу: всякий раз, когда ему встречался факт или мысль, противоречащие его теории, он записывал их немедленно и без исключений, — потому что заметил по опыту, что такие факты ускользают из памяти гораздо легче, чем благоприятные. Это второй такт, поставленный на поток человеком, знавшим, что его собственная голова будет саботировать. Джон Стюарт Милль в трактате «О свободе» написал, что тот, кто знает только свою сторону дела, знает мало и о ней: его доводы могут быть хороши, и никто не сумел их опровергнуть, — но если он сам не в состоянии опровергнуть доводы противной стороны, если даже не знает, каковы они, у него нет оснований предпочитать своё мнение. И добавил, что недостаточно услышать доводы противника от своих учителей, в их изложении и с их опровержениями: надо услышать их от людей, которые в них верят, в самой убедительной форме, — иначе даже истина будет усвоена как предрассудок, «мёртвая догма, а не живая истина».

Философ Дэниел Деннет уже в наше время свёл это в правила, которые приписал математику Анатолию Рапопорту: прежде чем критиковать, изложи позицию оппонента так ясно и справедливо, чтобы он сказал: «спасибо, жаль, что я сам не сумел сформулировать так хорошо»; перечисли, в чём согласен; назови, чему научился; и только потом возражай. Экономист Брайан Каплан предложил тест, который назвал идеологическим тестом Тьюринга: сумеете ли вы изложить взгляды противника так, что сами его единомышленники не отличат ваш текст от текста своего? Если нет — вы не понимаете, против чего спорите, и ваша победа в споре — победа над чуелом.

Отсюда — мерило, которое я считаю самым точным из всех, какими можно измерить развитость ума. Не эрудиция, не скорость, не острота реплик. Способность честно сформулировать позицию противника — так, чтобы он её узнал и признал своей. Это главное умение и главный дефицит эпохи, потому что всё в её устройстве работает против него: лента соцсетей показывает противника в самом глупом виде, потому что глупый противник вызывает больше реакций; окружение подбирается из согласных, потому что несогласные утомляют; спор ведётся публично, а публичный спор — это состязание адвокатов перед присяжными, где второй такт равен поражению. Человек, способный написать речь обвинителя против собственной позиции, — и написать сильно, — редок настолько, что при встрече его принимают либо за предателя, либо за путаника. Он ни то ни другое. Он просто надел протез, которого у остальных нет.

Вы могли заметить, что эта книга устроена по трём тактам. В каждой главе есть раздел, где я самставляю против себя лучшее возражение, какое умею, и стараюсь, чтобы оно было по-

настоящему. Это не литературный приём. Это единственный известный мне способ проверить, что я думаю, а не убеждаю, — потому что орган, которым я пишу, устроен так же, как ваш, и без внешнего оппонента я сам не отличу одно от другого.

Самое сильное возражение

И вот оно, в полную силу — тем более что здесь оно направлено против самого метода.

«Вы только что признали, что ум устроен как адвокат, — говорит критик. — Тогда объясните, почему ваш второй такт не будет работой того же адвоката? Человек, „честно“ ищущий самое сильное возражение, выберет то, которое умеет побить, — и будет искренне уверен, что выбрал сильнейшее. Вы предлагаете лечить предвзятость упражнением, которое выполняется тем же предвзятым органом. Это как просить неровное зеркало отразить себя. Далее: ваш метод хорош для кабинета. В реальном споре противник не ищет истины — он ищет победы, и тот, кто честно усиливает его позицию, сам вручает ему оружие. Построение наиболее сильной версии позиции оппонента — в пику "соломенному чучелу" — это самообезоруживание. И ещё есть позиции, которые не заслуживают „самой сильной формулировки“: вы всерьёз предлагаете написать лучшую защиту расизма, чтобы затем от него отказаться? Некоторые вещи следует отвергать, не давая им трибуны. И наконец, время. Жизнь требует решений сейчас; три такта требуют часов. Человек, который перед каждым шагом пишет речь обвинителя, не мыслитель, а паралитик. Вы сами во второй главе восхваляли путника, идущего прямо».

Четыре удара. Отвечу на каждый — а в конце признаю, от чего не отобьюсь вовсе.

Первое — о зеркале, отражающем себя. Критик прав: второй такт можно подделать, и подделка изнутри неотличима. Поэтому у него есть внешний критерий, и критерий этот не в голове. Возражение сформулировано честно, если под ним подписался бы противник — реальный, конкретный, самый умный из тех, кого вы знаете или можете вообразить. Это правило Рапопорта, и оно переносит проверку изнутри наружу: не «кажется ли мне, что я сформулировал сильно», а «сказал бы он: да, это моя позиция». Если такого человека нет и представить его не удаётся — вы ещё не начинали второй такт. Если он есть — покажите ему. Мерсье и Спербер показали ровно это: одиночка не находит своих ошибок, но двое, обменивающиеся доводами, находят.

Три такта — не замена живому оппоненту, а его имитация на случай, когда оппонента рядом нет. И всякий раз, когда его можно найти живого, надо предпочесть живого. Метод не заставляет зеркало отражать себя; он ставит напротив второе зеркало — и признаёт, что первое без второго слепое.

Второе — о споре с манипулятором. Здесь критик спутал два разных занятия. Три такта — это способ думать, а не способ спорить. Это то, что вы должны истине, а не то, что вы должны противнику. В публичном споре с тем, кто ищет победы, вы не обязаны вручать ему оружие — но вы обязаны знать для себя, какое оружие у него есть, потому что иначе вы сами не понимаете, во что верите. Дарвин не показывал оппонентам свою записную книжку с противоречащими фактами; он держал её для себя. Второй такт делается за столом, в одиночестве или с честным собеседником, — до боя, а не во время. Тот, кто вошёл в спор, не проделав второго такта, обречён на одно из двух: либо он не встретит сильного возражения и укрепитесь в иллюзии, либо встретит — и рухнет на глазах у всех, потому что слышит его впервые.

Третье — о позициях, недостойных формулировки. Это самый серьёзный удар, и ответу на него неудобно. Да, я предлагаю сформулировать лучшую защиту даже того, что вы считаете отвратительным, — и именно потому, что считаете. Милль сказал главное: истина, которую держат как предрассудок, не зная её оснований, — мёртвая догма; при первом же столкновении с человеком, знающим доводы другой стороны, она рассыпается. И рассыпается не потому, что ложна, а потому, что её носитель никогда не знал, на чём она стоит.

Человек, который не может изложить лучшие доводы расиста, не понимает, почему расизм неправ. Он лишь знает, что расизм неприличен, — а этого мало: неприличие меняется,

и когда оно изменится, ему нечем будет защищаться. Более того — и это важнее — у скверных позиций почти всегда есть сильная версия, живущая среди их сторонников, и слабая, живущая среди противников. Пока противники воюют со слабой, сильная остаётся нетронутой и набирает силу. Единственный способ действительно победить дурную идею — побить её в лучшей форме. Всё остальное — не победа, а карантин, и карантин рано или поздно прорывается. Но я признаю остаток. Есть вещи, о которых человек не должен рассуждать на каждом углу, потому что само рассуждение делает мыслимым немыслимое, и нравственная жизнь держится отчасти на том, что некоторые двери не открываются без нужды. Это правда. Только она касается не мышления, а его публичности и повода: наедине с собой, ради проверки собственных оснований, дверь открыть можно и нужно. Не для того, чтобы войти, — чтобы знать, что за ней, и не обмануться, когда кто-нибудь другой её распахнёт.

Четвёртое — о времени. Здесь критик прав, и я не буду отбиваться, а уточню. Три такта — не для каждого шага. Они для решений, которые весят: которые нельзя переиграть, за которые платят долго, от которых зависят другие. Таких решений в жизни не тысячи, а десятки, и на каждое из них час второго такта — ничтожная цена по сравнению с годами, которые уходят на расплату за пропущенное возражение. А для мелких решений протез, как всякий протез, срастается с походкой: человек, годами практикующий три такта на крупном, начинает делать их на мелком за секунды, почти не замечая, — и это уже не паралич, а выработанная привычка спрашивать «а что, если наоборот» раньше, чем рот успевает ответить. Путник Декарта шёл прямо, выбрав направление; никто не говорил, что направление надо выбирать не думая. Думают до выхода из леса; в лесу идут. Три такта — это то, что делают до.

И вот от чего я не отобьюсь. Критик может сказать: всё это предполагает, что человек хочет знать, что он неправ. А хотеть этого — не логическая способность, а нравственная, и логика ей не научит. Гёдель знал всё о доказательствах и умер от убеждения, к которому доказательств не подпускал. Это верно. Протез надевают руки; если руки не хотят, никакой протез сам не наденется. Готовность проиграть себе — не следствие метода, а его условие, и берётся она не из «Органона» Аристотеля. Откуда она берётся — это уже разговор не о логике, а о честности, о мере, о том, что человек любит больше: быть правым или быть в правде. К этому мы придём. Логика доводит до двери; открывать её приходится чем-то другим.

Что уносить с собой

Человек — не логическое существо, и в этом нет ничего постыдного: он существо выжившее. Его ум устроен так, чтобы ловить обманщиков, убеждать соплеменников и находить подтверждения тому, во что уже поверил, — и делает это превосходно; истина в перечень его задач вошла поздно и на птичьих правах. Аристотель дал ему орудие, которое проверяет сцепление мыслей, не спрашивая, чьи они; Бэкон показал, что рука, держащая орудие, искривлена, и составил карту искривлений; Кант нашёл предел самого орудия и научил читать противоречие как сигнал о выходе за границу; Гегель показал, что за этой границей иногда не пустота, а следующая ступень, до которой надо дорасти; Гёдель доказал, что орудие не может обосновать себя изнутри и что всегда нужен взгляд снаружи. Поведенческая наука подтвердила Бэкона с избытком и добавила то, чего он не знал: чем сильнее ум, тем яростнее он защищает свои искажения, а рассуждение достигает истины не в честной голове, а в честном споре.

Значит, логика — протез. Надевают его не всегда, а там, где решение имеет вес, — сознательно, с усилием, памятуя, что тело будет упираться. А поскольку природа дала нам адвоката и не дала оппонента, оппонента приходится строить — самому, за столом, до боя: сформулировать, что думаешь; выставить против этого лучшее, что выставил бы самый умный из несогласных, — так, чтобы он подписался; и посмотреть, что осталось. Способность сделать второй шаг честно — не игра в адвоката дьявола, а сильнейшая формулировка чужой правоты — точнее любого теста отличает ум развитый от ума вооружённого. Первый ищет, где неправ. Второй ищет, чем побить.

Зазор между убедительным и верным нельзя закрыть — чувство очевидности будет приходить всегда, само собой и мгновенно, и всегда будет ощущаться как знание. Его можно только держать: помнить, что оно чувство, и не принимать за свидетельство. Всё остальное в этой главе — техника удержания.

Лаборатория: речь за противника

Выберите убеждение, в котором вы уверены, — и которое при этом отрицает кто-то, кого вы уважаете или хотя бы не считаете глупцом. Не пустяк и не то, о чём вам всё равно: берите то, что вас задевает, когда при вас оспаривают. Политическое, нравственное, житейское, профессиональное — неважно; важно, чтобы при одной мысли о противоположной позиции у вас чуть поднималась температура. Упражнение на равнодушном материале ничего не проверяет: там адвокат внутри вас спит, и подделка второго такта выходит особенно лёгкой.

Теперь напишите самый убедительный текст в защиту противоположной позиции, какой сумеете. Страницу, не меньше. Не пародию, не «вот что говорят эти люди» с интонацией усталого превосходства, не набор их лозунгов, — а речь, которую вы произнесли бы, если бы искренне верили в обратное и хотели убедить умного и настроенного скептически слушателя. Ищите их лучшие доводы, а не самые громкие. Громкие — те, что слышны издали: лозунги, общие слова; их и опрокинуть проще всего, и потому именно с ними обычно воюют противники, а сторонники выставляют напоказ.

Лучшие — те, что заставляют вас задуматься: они тише и прячутся за громкими. Ищите, какая правда стоит за их позицией, — какая забота, какой опыт, какое наблюдение. Позиции, за которыми нет никакой правды, не держатся долго, а эта держится; держится не потому, что все её сторонники глупы, а потому, что они что-то видят. Найдите, что. Там, где ваш голос сам собой съезжает в иронию, остановитесь: ирония — признак, что адвокат внутри вас начал саботировать, и это место надо переписать серьёзно.

Проверка одна, и она не в вас. Перечитайте написанное глазами того человека, который так думает, — не потому, что вы сами не справитесь, а потому, что свой текст вы уже прочли своим глазом, и он его одобрил. Сказал бы он: «да, это моя позиция, и изложена она лучше, чем я сам умею»? Если вы честно отвечаете «нет» — он сказал бы, что вы упростили, передёрнули, пропустили главное, — вернитесь и допишите то, что пропустили. Если у вас есть возможность показать текст такому человеку — покажите; это переводит проверку из головы наружу, где ей место. Задача выполнена только тогда, когда он подписался бы.

Затем — третий такт. Положите рядом ваше исходное убеждение и написанную речь и спросите: что выжило? Как правило, обнаруживается одно из трёх. Либо ваше убеждение устояло, но изменилось: приобрело оговорки, потеряло абсолютность, стало точнее — и теперь вы знаете, в чём именно правы, а не просто что правы. Либо оно не устояло вовсе — и вы узнали об этом за столом, а не от жизни, и это лучший исход, какой бывает. Либо оба довода стоят непоколебимо, и тогда перед вами тот самый кантовский случай, о котором шла речь выше: посмотрите, нет ли слова, которое обе стороны употребляют так, будто оно определено, — и не в нём ли дело.

И заметьте напоследок, что вы чувствуете к тому человеку, чью речь написали. Обычно — не согласие, но что-то новое: он перестал быть глупцом или злодеем и стал тем, кто видит другую сторону вещи, которую вы видите с одной. Это побочное действие упражнения, но оно, возможно, важнее основного. Об этом — когда речь пойдёт о другом человеке и о том, на каком расстоянии его видно.

Глава 5. Мера: тайна точности

Печень

В декабре 1912 года трое мужчин с двумя собачьими упряжками шли на восток по антарктическому плато, в пятистах километрах от базы. Их звали Дуглас Моусон, Ксавье Мерц и Белгрейв Ниннис. Четырнадцатого декабря Ниннис вместе с санями, палаткой, шестью лучшими собаками и почти всей едой провалился в трещину и исчез. Моусон и Мерц кричали в неё три часа. Потом повернули назад.

Еды у них оставалось на полторы недели, а идти было пять. Они делали то единственное, что могли: убивали собак и ели их — мясо, жилы, лапы и, разумеется, печень, потому что печень мягкая, её легко варить и в ней, как знал всякий полярник, много питательного. Через две недели с Мерцем стало твориться странное. У него сходилась кожа — ладонями, целыми лоскутами; выпадали волосы; его тошнило; он впадал в ярость и в бред и однажды откусил себе кончик пальца, чтобы доказать, что не чувствует боли. Восьмого января он умер. Моусон прошёл оставшиеся сто шестьдесят километров один, привязав бечёвкой отставшие подошвы собственных ступней — они отслоились, как у Мерца, — и добрался до базы восьмого февраля, через несколько часов после того, как корабль ушёл.

Полвека никто не понимал, что их отравило. В 1969 году два австралийских врача предложили объяснение, которое теперь принято почти всеми: печень ездовой собаки содержит чудовищное количество витамина А — в ста граммах может быть смертельная доза. Собака, как и всякий хищник, запасает витамин А в печени, и запасает так, что печень её становится концентратом. А витамин А — не яд. Это одно из немногих веществ, без которых человек не живёт: без него слепнут, перестают расти, умирают от первой инфекции. Мерца убило не отсутствие необходимого и не присутствие вредного. Его убило необходимое, взятое сверх меры.

За четыре века до этого швейцарский врач Парацельс написал фразу, которую с тех пор повторяет каждый учебник фармакологии: всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает вещь неядовитой. Он имел в виду ртуть, мышьяк, опий. Но фраза шире: вода убивает — от неё, выпитой в количестве шести литров за несколько часов, отекает мозг; кислород, которым дышат под давлением в чистом виде, сжигает лёгкие; соль, без которой останавливается сердце, в достаточной дозе его же останавливает. Нет вещества, которое было бы благом самим по себе. Есть вещества, которые благо в такой-то мере, для такого-то тела, в такой-то момент.

Я начал с печени, а не с философии, потому что то же самое устройство обнаруживается во всём человеческом, и легче поверить в это, начав с химии. Забота о ребёнке — благо; забота сверх меры называется удушением, и дети, выросшие под ней, не умеют ходить без поводка. Честность — благо; честность сверх меры превращается в жестокость и находит себе оправдание в том, что говорит правду. Бережливость становится скупостью, щедрость — расточительством, храбрость — безрассудством, ответственность — тревогой, которая не даёт спать и ничем не помогает делу, гордость — спесью, скромность — ничтожеством, требовательность — тиранией, терпимость — беспринципностью, любовь к порядку — неврозом, любовь к свободе — распадом.

Перебирайте сколько угодно: не найдётся ни одного качества, которое, будучи доведено до предела, не оборачивалось бы своей противоположностью или чем-то похуже. Причём оборачивается оно незаметно, не в какой-то момент, когда звучит сигнал, а постепенно, как печень у Мерца: ещё вчера это была добродетель, а сегодня от неё сходит кожа, и человек, как правило, последним узнаёт, что переступил черту.

Отсюда вопрос главы, и он не риторический: почему? Почему нет блага, которое переносило бы собственную максимизацию? И если благо — не вещь, а количество, то что это за

наука о количестве, которой не учат нигде и без которой все остальные науки — включая те четыре, которыми мы занимались в предыдущих главах, — становятся опасны? Логика без меры превращается в софистику; умение видеть сквозь иллюзии без меры — в цинизм, который не видит ничего, кроме иллюзий; способность настоять на своём без меры — в тиранию. Каждая из этих наук — оружие, а у всякого оружия есть вес и баланс.

Лук и лира

Первым, кто увидел в этом не житейское наблюдение, а закон мира, был Гераклит из Эфеса — человек, писавший так темно, что его прозвали Тёмным, и так точно, что за две с половиной тысячи лет из его сотни уцелевших фраз почти ни одна не устарела.

Одна из них звучит так: «Не понимают, как расходящееся само с собой согласуется: возвращающаяся гармония, как у лука и лиры». Возьмите лук. Он есть только пока тетива тянет концы друг к другу, а древко распирает их врозь. Ослабьте тетиву — и это не лук, а палка с верёвкой. Натяните сверх меры — и он лопнет. Лук существует как натяжение, как удерживаемая борьба двух противоположных сил, и стреляет ровно потому, что ни одна не победила. То же с лирой: звук рождает струна, натянутая между двумя тягами; спусти — молчит, перетяни — рвётся. Гармония у Гераклита — не мир и не покой, как мы привыкли слышать это слово. Гармония — это правильно удержанное противоборство.

Так он видел всё. Холодное нагревается, тёплое остывает, влажное сохнет; день и ночь — одно, путь вверх и путь вниз — один и тот же; «война — отец всего». И мир не распадается в этой войне лишь потому, что у каждой силы есть предел. «Солнце не преступит своих мер, — пишет он, — иначе Эринии, союзницы Правды, его разыщут». Эринии — богини мщения, преследующие убийц. Гераклит приставляет их к солнцу: даже оно, если пойдёт дальше положенного, будет наказано. Мера у него — не человеческое правило, а космический закон, и нарушение меры — не ошибка, а преступление, за которым следует кара, независимо от того, кто нарушил.

Греки чувствовали это раньше своих философов. На храме в Дельфах стояло две надписи, и вторую вспоминают реже первой: «познай самого себя» и «ничего сверх меры». У них было особое слово для преступления меры — гибрис, которое обычно переводят как «гордыня», но это неточно: гибрис — не гордость как чувство, а переступание, выход за черту, отведённую человеку. Вся греческая трагедия, к которой мы ещё придём, есть развёрнутое рассуждение о том, как гибрис притягивает кару. Геродот рассказывает, как афинянин Солон гостил у лидийского царя Крёза, богатейшего человека своего времени, и тот, показав сокровищницу, спросил, кого мудрец считает счастливейшим. Солон назвал двух-трёх неизвестных людей, умерших достойной смертью, и объяснил изумлённому царю: не называй никого счастливым, пока он не умер, — потому что судьба завистлива, и у кого больше всех, тому дальше всех падать. Крёз посмеялся. Через несколько лет он потерял сына, царство и едва не сгорел на костре у персов — и, стоя на костре, трижды выкрикнул имя Солона.

Отсюда первый и самый глубокий ответ на вопрос главы. Благо в избытке становится злом потому, что благо — не вещь, а натяжение. Храбрость есть страх, удержанный волей, и без страха она не храбрость, а тупость; забота есть любовь, удержанная уважением к чужой отдельности, и без этого удержания она не забота, а захват. Всякая добродетель — лук: она стреляет, пока в ней противоборствуют две тяги. Довести её до предела — значит убрать одну из них, и лук либо провиснет, либо лопнет. Мерца убил не витамин А. Его убило исчезновение того, что удерживало витамин А в мере, — исчезло всё остальное, что человек ест, и осталось одно.

Борец Милон

Через полтора столетия Аристотель сделал из этого учение — из гераклитовой меры и дельфийского «ничего сверх меры», — и, как всегда, сделал так основательно, что споры с ним идут до сих пор.

Во второй книге «Никомаховой этики» он говорит: добродетель — это середина между двумя пороками, из которых один — от избытка, другой — от недостатка. Мужество — между трусостью и безрассудством. Щедрость — между скупостью и мотовством. Правдивость — между хвастовством и притворным самоуничижением. Остроумие — между шутовством и угрюмостью. Даже негодование — праведный гнев на незаслуженное благополучие — у него посередине между завистью и злорадством. И это учение почти сразу же было понято превратно — как призыв к умеренности, к «золотой середине», к тому, чтобы всего понемногу и ничего всерьёз. Аристотель предвидел это и потратил немало страниц, чтобы предупредить, — но, как это обычно бывает, предупреждения не читают.

Первое предупреждение: середина — не арифметическая. Он приводит пример, который стоит запомнить, потому что он снимает половину недоразумений. Если десять мин еды — много, а две — мало, тренер не назначит атлету шесть: для борца Милона, шестикратного олимпийского победителя, шесть — голод, а для новичка в гимназии — обжорство. Милон Кротонский — легендарный силач, о котором рассказывали, что он носил на плечах быка; ему, чтобы не умереть с голоду, нужно было больше, чем среднему человеку, чтобы насытиться. Середина, говорит Аристотель, «относительно нас» — не относительно вещи, а относительно того, кто, когда и зачем. У неё нет числа. Она каждый раз другая, и её нельзя вычислить заранее, — её можно только найти.

Второе предупреждение сильнее. Середина, говорит он, — середина по своей сущности, но по достоинству и совершенству она — вершина. Мужественный не «немного боится и немного смел»; он смел ровно настолько, насколько требует дело, и в этом — высшая точка, а не полпути. Добродетель, пишет он, точнее и лучше любого искусства. И тут же объясняет, почему её так трудно достичь: ошибаться можно бесконечным числом способов — пифагорейцы не зря относили зло к беспредельному, а благо к пределу, — а поступить правильно можно только одним. Мимо цели легко промахнуться, попасть трудно. И потому, заключает он, избыток и недостаток — свойства порока, а середина — добродетели: не потому, что она умеренна, а потому, что она точна.

И вот фраза, ради которой я вспоминаю Аристотеля здесь, а не только в главе о добре. Рассердиться, говорит он, может всякий — это легко; и раздать деньги, и потратить их может всякий. Но рассердиться на того, на кого следует, в той мере, в какой следует, в то время, когда следует, ради того, ради чего следует, и так, как следует, — это уже не всякий может, и это нелегко. На кого, сколько, когда, ради чего и как. Пять координат. Мера у Аристотеля — не количество, а положение в пятимерном пространстве, и добродетельный человек — тот, кто попадает в нужную точку этого пространства с той же уверенностью, с какой лучник попадает в мишень. Не «поменьше гнева», а «ровно столько гнева, сколько заслуживает вот это, вот сейчас, вот от меня».

Как этому научиться? Аристотель честен: правилом — никак. Решение, говорит он, — «в чувстве», в восприятии: как глаз, натренированный на расстояния, видит, что до дерева сто шагов, так натренированный характер видит, что здесь уместно, — и видит это в единичном случае, к которому не подходит никакое общее правило. Он даёт лишь два совета, оба практические. Первый: знай, куда тебя тянет, и держись от этой стороны подальше. В «Одиссее» Цирцея советует Одиссею держаться ближе к Сцилле, а не к Харибде: Харибда губит весь корабль, Сцилла — только нескольких людей, и лучше потерять часть, чем всё. Так и здесь: если ты по природе робок, целясь чуть ближе к безрассудству; если вспыльчив — чуть ближе к безразличию. Промах в сторону естественного уклона — самый вероятный, и, целясь в противоположную, ты при промахе окажешься ближе к середине. Второй: остерегайся приятного, потому что приятное мы судим пристрастно, и почти все промахи — в его сторону. Остальное — упражнение.

Мера не знается, а наработывается, как рука столяра, и наработавший её человек — Аристотель зовёт его фронимос, рассудительный, — сам становится мерой для других: хочешь понять, где середина, посмотри, как поступил бы он. Фронимос — это не тот, кто знает правило, а тот, кто умеет видеть, что здесь и сейчас правильно.

Сосуд, который опрокидывается

За полтора столетия до Аристотеля, на другом конце обитаемого мира, человек, никогда о нём не слышавший, учил тому же — и оставил образ, который я считаю лучшим из всех, какие есть у меры.

Конфуций сказал однажды: «Середина как добродетель — это высшее; но давно уже она редка среди людей». Ученик Цыгун спросил его, кто из двух других учеников лучше — Ши или Шан. Учитель ответил: Ши заходит слишком далеко, Шан не доходит. Значит, Ши лучше? — переспросил Цыгун. «Перейти — то же, что не дойти», — сказал Конфуций. Четыре иероглифа, из которых потом сделали поговорку; и в них — всё аристотелевское учение о двух пороках, только сжатое до того, что его можно носить в кармане. Промаяхнуться мимо середины можно с обеих сторон, и в обоих случаях результат один: ты не там.

А вот образ. Конфуций посетил храм луского князя Хуаня и увидел там странный сосуд, стоящий наклонно. Спросил служителя, что это. Тот ответил: сосуд, который стоит справа от сидящего, — напоминание. Конфуций сказал: я слышал о таких. Пустой он наклоняется; наполненный до середины стоит прямо; наполненный доверху — опрокидывается. Он велел ученикам налить воды — и всё оказалось так: пустой кренился, налитый наполовину выпрямился, полный перевернулся и вылил всё. Учитель вздохнул: «Увы! Разве есть что-нибудь полное, что не опрокинулось бы?»

Что здесь сказано, чего нет у Аристотеля? Две вещи. Первая: у сосуда мера — не абстракция, а равновесие, и оно проверяется без всякой теории — стоит или падает. Мера — не то, что человек назначает; это то, что вещь либо выдерживает, либо нет, и результат виден. Вторая, более тонкая: сосуд опрокидывается полным. Не переполненным, не с избытком — ровно тогда, когда достиг того, к чему стремился всякий, кто наливает. Точка максимального наполнения и точка катастрофы совпадают. Это не предостережение от жадности; это описание устройства: полнота и падение — одно событие. Полнота не предшествует падению — она и есть падение, просто мы замечаем его позже.

Конфуцианцы прибавили к этому третье, и оно решающее. В трактате «Учение о середине» сказано, что середина благородного мужа — это середина по времени: он находит её заново в каждый момент, сообразуясь с обстоятельствами. Мэн-цзы называл Конфуция «мудрецом своевременности». Он сравнивал его с другими древними мудрецами: один был слишком чист — не шёл ни на какие компромиссы; другой — слишком ответственным, брал на себя всё; третий — слишком покладистым, уступал всем. Конфуций же делал то, чего требовало время: когда следовало служить, служил; когда следовало уйти, уходил; когда следовало торопиться, торопился; когда медлить — медлил. Середина у него не стоит на месте; она движется вместе с обстоятельствами, и попасть в неё — значит попасть не только в «сколько», но и в «когда». Тот же поступок, совершённый годом раньше, — недоход; годом позже — перебор. Мера имеет не только величину, но и час.

У греков для этого было отдельное слово — кайрос, «должный момент», в отличие от хроноса, времени вообще. Некоторые филологи возводят его к языку ткачей и лучников: у ткачей кайрос — это миг, когда нити основы разошлись и в образовавшийся просвет можно пропустить челнок; у лучников — отверстие, в которое должна пройти стрела. Если так, то мера во времени буквально названа именем зазора — промежутка, который открывается ненадолго и в который надо успеть попасть. Экклезиаст сказал то же самое без филологии: всему своё время, время разбрасывать камни и время собирать, время молчать и время говорить, — и не сказал, какое время какое, потому что этого сказать нельзя. Это можно только увидеть.

Нож повара Дина

Есть в китайской мысли и другая линия — противоположная конфуцианской по видимости, но, если вдуматься, доводящая её до конца. Это даосы, и их вклад в учение о мере — самый парадоксальный и самый практичный. Конфуцианцы ищут середину в человеческих отношениях: как себя вести с отцом, с князем, с другом. Даосы ищут её в устройстве самого мира: как вести себя с вещами, с телом, с жизнью — так, чтобы не ломать ни то, ни другое. И вывод, к которому они приходят, тот же, что у Аристотеля, только выражен не через «середину», а через «остановку»: не делай лишнего, не нажимай там, где можно не нажимать, не лей, когда уже полно.

«Дао дэ цзин», книга, приписываемая Лао-цзы, почти целиком о том, где остановиться. Лучше остановиться, сказано в ней, чем держать сосуд наполненным до краёв; клинок, наточенный до предела, недолго сохранит остроту; зал, полный золота и нефрита, не устеречь; кто заносчив от богатства и знатности, сам навлекает беду; сделав дело, отойди — таков путь Неба. Кто знает меру, не встретит позора; кто знает, где остановиться, не подвергнется опасности. Твёрдое и крепкое — спутники смерти; мягкое и слабое — спутники жизни; потому сильное войско гибнет, а крепкое дерево ломается: буря валит дуб, а тростник гнётся и остаётся. И самое неожиданное: люди губят дело, когда оно почти завершено; будь так же осторожен в конце, как в начале, — и не испортишь.

Последнее стоит выделить, потому что оно бьёт в место, о котором почти никто не думает. Мы полагаем, что мера теряется в начале — от жадности, от порыва. Лао-цзы говорит: нет, чаще всего она теряется у самого конца, в последнем усилии, когда сосуд уже почти полон, а рука по инерции продолжает лить. Этот лишний шаг знаком каждому: слово, которое сделало бы ссору оконченной, — и ещё одно слово после него; тренировка, которая была нужна, — и повтор сверх неё, из-за которого рвётся связка; сделка, которая была выгодна, — и попытка выжать ещё, из-за которой она срывается; правка, доводящая текст, — и правка после неё, которая его убивает. Мера — это в огромной степени умение остановиться вовремя, то есть раньше, чем хочется, и Лао-цзы понимал, что это труднее, чем начать.

Отсюда его знаменитое учение, которое переводят как «недеяние», и перевод этот сбивает с толку. У-вэй — не бездействие. Формула звучит полностью так: не действуя, не оставляет ничего несделанным. Речь о действии, из которого убрано всё лишнее — всё, что не требуется вещами, все усилия, направленные не на дело, а на самоутверждение, всё, что делается «на всякий случай», «побольше», «с запасом». У-вэй — это действие, доведённое до такой точности, что оно перестаёт ощущаться как усилие. Не меньше действия, а ровно столько. Не половина натяжения — то натяжение, при котором лук стреляет.

Лучше всего это показал Чжуан-цзы — философ, живший через два столетия после предполагаемого Лао-цзы и считающийся самым ярким из его последователей, — в истории, которая имеет к этой книге отношение более прямое, чем я мог надеяться, когда начинал главу. Повар Дин разделывал быка для князя Вэнь-хуэя. Каждое движение его рук, плеч, ног было как танец, нож входил со звуком, будто играла музыка. Князь восхитился: как можно достичь такого искусства? Дин отложил нож и ответил. Когда он начинал, он видел перед собой целого быка. Через три года перестал видеть быка. Теперь он встречает быка духом, а не глазами; знание останавливается, и дух движется куда хочет — то есть он больше не думает о том, как резать, не перебирает в уме правила и приёмы; рука знает сама, потому что долгие годы упражнения вложили это знание прямо в неё, минуя рассуждение. И он следует природному строению — попадает в большие полости, ведёт нож по большим проходам, идёт туда, где бык сам расходится. Хороший повар, говорит Дин, меняет нож раз в год — потому что режет; посредственный — раз в месяц, потому что рубит. А его ножу девятнадцать лет, он разделал им тысячи быков, и лезвие — как только что с точильного камня. Почему? Потому что в суставах есть промежутки, а у лезвия нет толщины; и когда то, что не имеет толщины, входит

в то, что имеет промежуток, — там просторно, нож гуляет свободно, и ему есть где ходить. Правда, добавляет Дин, всякий раз, доходя до трудного места, он видит, что там тяжело, собирается, замедляется, глаз останавливается, движение становится совсем малым — и вдруг всё расходится, как рассыпается ком земли. Тогда он стоит с ножом в руке, оглядывается вокруг, довольный, вытирает нож и убирает его.

Князь сказал: слушая повара, я научился, как питать жизнь. Это не вежливая фраза. Князь понял, что рассказ не про разделку туш, а про то, как прожить, не изнашиваясь: не рубить по костям, а находить промежутки; не давить, а идти туда, где само расходится; останавливаться после каждого дела и убирать нож. Повар Дин сохранил нож на девятнадцать лет — человек, который так обращается с собственной жизнью, сохранит и её.

Здесь всё, что я хотел сказать о мере, сказано языком мясника. Ремесленник рубит — и меняет нож раз в месяц. Мастер находит зазор — и нож не тупится за девятнадцать лет. Различие между ними — не в силе; посредственный повар, возможно, сильнее. Различие в том, что мастер видит, где вещь расходится сама, и входит туда, а не туда, где ему удобно, — и потому его действие почти не встречает сопротивления, потому что оно точное. Мера — это не половинное усилие. Мера — это усилие, направленное в промежуток.

И заметьте два обстоятельства, которые Чжуан-цзы не случайно оставил в рассказе. В трудном месте мастер не нажимает сильнее — он замедляется и сосредоточивается: мера в трудном требует не большего давления, а большего внимания. А закончив, он останавливается, оглядывается и убирает нож. Он не начинает следующего быка по инерции. У действия есть конец, и мастер его чит.

Промах

Я обещал трагедию, и она нужна здесь потому, что показывает то, чего не показывают трактаты: что бывает с человеком меры, когда меру нельзя соблюсти, — и что даже тогда она остаётся мерой.

Греческий театр почти ничего не рассказывает о злодеях. Его герои — люди лучше нас: благочестивее, отважнее, умнее, честнее. И губит их не порок, а достоинство, дошедшее до края. Возьмите «Антигону» Софокла. Антигона хочет похоронить брата, которого царь Креонт запретил хоронить как изменника; она делает это из верности богам и родной крови — верности безусловной, не признающей никаких других требований. Креонт, её противник, запретил хоронить предателя из верности закону города — тоже безусловной: закон для него выше родни и выше жалости, иначе город распадётся. Оба правы, оба не могут уступить, и оба гибнут: Антигона — повесившись в темнице, Креонт — потеряв сына, невесту сына и жену, которая проклинает его перед смертью. Хор поёт о мере, потому что больше петь не о чем. Эдипа губит то, чему была посвящена первая глава этой книги: воля знать. Он ищет убийцу своего предшественника, царя Лая, с честностью, которой не ждёшь от царя; ему говорят — остановись; жена Иокаста умоляет — не спрашивай больше; слепой прорицатель Тиресий говорит — ты не хочешь этого знать; он не останавливается, потому что честный человек не останавливается на полпути к правде, — и правда оказывается той, которую он искал меньше всего: убийца Лая — он сам, и Иокаста — его мать. Он выкалывает себе глаза. Не ложь, не трусость, не корысть. Добродетель без меры.

У Аристотеля в «Поэтике» есть слово для того, что случается с трагическим героем, — гамартия. Его веками переводили как «трагическая вина» и понимали как некий грех, за который герой расплачивается. Но глагол, от которого оно происходит, означает «промахнуться» — не попасть стрелой в цель. Гамартия — не преступление, а промах: герой целил в благо и перелетел. Это то же слово, которым Новый Завет назовёт грех, и в этом совпадении больше смысла, чем кажется: грех у греков — не нарушение запрета, а непопадание в меру; и мы уже видели, что Аристотель описывал добродетель как попадание. Промахнуться можно с недолётом и с перелётом; трагедия — почти всегда о перелёте, о человеке, у которого лук натянут

сильнее, чем выдерживает жизнь. Вот почему греческая трагедия не моралите: она не о том, что злой получил по заслугам, а о том, что лучший погиб от собственного лучшего качества, доведённого до предела.

В самом конце восемнадцатого века немецкий поэт Фридрих Гёльдерлин, переводивший Софокла и в этих переводах ушедший так далеко, что современники перестали его понимать, написал в романе «Гиперион» фразу, которую нужно бы вырезать на стене каждого парламента: «Государство всегда превращалось в ад оттого, что человек хотел сделать из него свой рай». Гёльдерлин видел французскую революцию — видел, как самые чистые из всех когда-либо провозглашённых целей за пять лет привели к гильотине, работавшей круглосуточно, и понял, что это не измена целям, а их логическое завершение. Благо, поставленное абсолютно, не терпит ничего рядом с собой; оно требует всё пространство — и в этом пространстве не остаётся места для людей, ради которых затевалось. Все позднейшие ады двадцатого века построены по тому же чертежу: не злодеями, желавшими зла, а людьми, желавшими одного добра больше всего остального. Гёльдерлин увидел это в 1797 году. Он назвал это трагедией.

Ницше в двадцать восемь лет написал «Рождение трагедии» — книгу о том, как греки держали в одном произведении две противоположные силы: Аполлона, бога света, границ, формы, отдельности, того самого «познай себя» и «ничего сверх меры», — и Диониса, бога опьянения, растворения, безмерного, стирающего всякую грань между человеком и человеком, человеком и природой. Аполлон без Диониса — мёртвая форма, красивая и пустая; Дионис без Аполлона — варварство, оргия, распад. Величие греков, говорит Ницше, в том, что они не выбрали, а удержали обоих — как лук и лиру, — и трагедия родилась из этого удержания: дионисийский ужас, увиденный сквозь аполлонический образ. Это Гераклит, пересказанный языком искусства, и это верно.

А через четырнадцать лет, в «По ту сторону добра и зла», он написал о себе и своих современниках вот что: «Мера чужда нам, признаемся себе в этом; нас щекочет как раз бесконечное, безмерное. Подобно всаднику на храпящем, рвущемся вперёд коне, мы бросаем поводья перед бесконечным, мы, современные люди, мы, полуварвары, — и лишь там достигаем блаженства, где мы больше всего в опасности». Это диагноз, поставленный за век до того, как болезнь стала повальной, и в нём есть то, чего нет у Гераклита и Аристотеля: понимание, что безмерность может быть сладкой, что человек тянется к ней не по ошибке, а потому что она щекочет, и что современная культура не только не сдерживает эту тягу, а возводит её в достоинство. В январе 1889 года на площади в Турине Ницше, увидев, как извозчик бьёт лошадь, бросился к ней, обнял за шею и потерял рассудок — и не вернулся к нему за оставшиеся одиннадцать лет жизни. Человек, лучше всех описавший, как всадник бросает поводья, сам оказался тем всадником. Мы уже видели это с Гёделем: орудие, доведённое до совершенства, ничего не гарантирует руке, которая его держит. Ницше знал о мере всё. Это не помогло ему её иметь.

Перевернутая парабола

Всё это — Гераклит, Аристотель, Конфуций, Лао-цзы, повар Дин — было бы историей идей, если бы двадцатый век не проверил древнее знание о мере с точностью, какой сами древние не располагали. Он проверил — и получил одну и ту же кривую во всех областях, где искал. Кривая эта — перевернутая парабола: поднимается, достигает вершины, опускается. Слишком мало — плохо, слишком много — тоже плохо, а лучше всего — где-то посередине.

В 1908 году два американских психолога, Роберт Йеркс и Джон Додсон, обучали мышей различать проходы в лабиринте, наказывая за ошибку током разной силы. Они ожидали, что чем сильнее наказание, тем быстрее обучение: страх должен подгонять. Вышло иначе: обучение улучшалось с ростом силы тока до определённой точки, а потом ухудшалось — сильно напуганная мышь училась хуже слегка напуганной. Кривая имела форму перевернутой буквы U, и с тех пор её нашли всюду: в зависимости результата от волнения, усилия от мотивации,

творчества от давления. Слишком мало — вяло; слишком много — паралич; оптимум — где-то посередине, и «где-то» каждый раз своё: у одной задачи и одного человека в один день он один, у другой, другого и в другой день — другой. В 2011 году психологи Адам Грант и Барри Шварц собрали десятки исследований и показали, что та же кривая описывает почти все качества, которые принято считать безусловно хорошими: добросовестность за пределом становится ригидностью, оптимизм — слепотой, самооценка — нарциссизмом, эмпатия — выгоранием сострадания, щедрость — истощением, настойчивость — неспособностью бросить проигранное дело. Аристотель угадал форму; Йеркс с Додсоном её измерили.

Экономисты знали это ещё раньше и по-своему. Даниил Бернулли в 1738 году заметил, что каждый следующий дукат — золотая монета, ходившая тогда по Европе, — приносит богачу меньше радости, чем предыдущий: первый обретенный дукат дорог, сотый почти неощутим. Через сто с лишним лет это стало законом убывающей предельной полезности: чем больше у тебя чего-то, тем меньше ценность добавки — и в какой-то точке добавка становится отрицательной, то есть следующая единица уже не прибавляет, а отнимает. Первый стакан воды в пустыне бесценен; шестой литр убивает. Кривая Бернулли — та же перевернутая парабола, только нарисованная не на мышах, а на деньгах.

А в семидесятых годах австрийский священник и мыслитель Иван Иллич показал, что кривая относится не только к людям, но и к учреждениям. Он назвал это контрпродуктивностью: всякий институт, перейдя определённый порог, начинает производить обратное тому, ради чего создан. Медицина сверх меры делает людей больными — он назвал это ятрогенией, от греческого «врачом вызванное», и подсчитал её масштаб: сколько болезней порождено самим лечением, а не пришло извне. Школа сверх меры отучает учиться, подменяя учение получением справок: ученик усваивает не знание, а правила игры в оценки. Транспорт сверх меры замедляет — и это не парадокс, а арифметика. Иллич посчитал, что средний американец тратит на автомобиль, включая работу для его оплаты, около тысячи шестисот часов в год и проезжает за это время примерно двенадцать тысяч километров. Разделите одно на другое — получится семь с половиной километров в час: быстрее пешехода, но медленнее велосипедиста. То есть человек, обзаведясь машиной, стал передвигаться медленнее, чем если бы просто ходил пешком, — и всё это не вопреки прогрессу, а благодаря ему: чем быстрее средство, тем больше времени уходит на то, чтобы его содержать. Иллича при жизни считали чудачком. Пятьдесят лет спустя его тезисы обсуждают всерьёз, потому что кривая продолжила себя и достигла тех мест, о которых он не мог знать.

Вот эти места. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения включила выгорание в международную классификацию болезней как профессиональный синдром — истощение, отчуждение от работы, падение результативности. Это не лень и не депрессия; это болезнь людей, которые долго давали больше, чем требовала мера, — потому что так надо, потому что все так, потому что «выкладывайся на сто десять процентов», потому что культура не знает слова «достаточно». Эпидемия ожирения — болезнь пищи, ставшей безмерно доступной; опиоидный кризис в Америке — болезнь обезболивания, доведённого до максимума; тревога подростков — болезнь родительской заботы, не знающей, где остановиться, и связи, не знающей, когда прерваться; распад отношений, о котором пойдёт речь в третьей части, — болезнь ожиданий, максимизированных до того, что ни один живой человек их не выдерживает. Это разные явления, но чертёж один, и чертёж этот — сосуд, опрокинувшийся оттого, что его наполнили доверху.

Есть и более общий закон, и его сформулировал в 1975 году британский экономист Чарльз Гудхарт. Закон звучит так: когда мера становится целью, она перестаёт быть хорошей мерой. Гудхарт заметил это на денежной политике — центральные банки взяли под контроль денежную массу, чтобы сбить инфляцию, и как только денежная масса стала целью, связь между ней и инфляцией рассыпалась, потому что банки и рынки приспособились к новому

правилу, — но формула оказалась универсальной. Пока число раскрытых дел — способ оценить работу полиции, оно кое-что говорит; как только оно становится целью, полиция начинает раскрывать простые дела и не регистрировать сложные, и число растёт, а работа падает. Пока время, проведённое пользователем в приложении, — способ понять, полезно ли приложение, оно о чём-то говорит; как только оно становится целью, которую оптимизируют инженеры с бюджетом в миллиарды, приложение превращается в машину для удержания, и «полезность» из него исчезает без остатка — мы говорили об этом в прологе, не называя закона. Гудхарт открыл, что максимизация одной величины разрушает саму эту величину, и это математическая форма гераклитовского лука: показатель имел смысл, пока был натянут между тем, что измерял, и тем, для чего измерял; сделали его целью — тетива лопнула.

И самый чистый мысленный эксперимент на эту тему придумал в 2003 году философ Ник Бостром. Представьте искусственный интеллект, которому поставили единственную задачу — производить как можно больше канцелярских скрепок — и который достаточно могуществен, чтобы её выполнить. Он не злой; он даже не равнодушный; он просто делает то, что велено, — и потому превращает в скрепки всё: заводы, города, людей, планету, а затем строит корабли, чтобы искать сырьё для скрепок в других звёздных системах. Это не предсказание и не страшилка — это мысленный эксперимент, проверка идеи на прочность: что будет, если убрать все ограничения, кроме одной цели. И он выглядит как шутка, пока не заметишь, что здесь нарисован портрет всякой идеологии, всякой одержимости и всякого человека, поставившего одно благо выше всех остальных. Максимизатор скрепок — не глупец. Он бесконечно умен и абсолютно лишён меры, и потому уничтожает всё. Мера, как видно на примере максимизатора, оказывается вовсе не добродетелью осторожности, а чем-то более фундаментальным: признанием того, что благ много и что ни одно из них не имеет права на всё пространство. Исайя Берлин назвал это плюрализмом ценностей: свобода и равенство, милосердие и справедливость, покой и творчество не сводятся к одной шкале и не могут быть максимизированы одновременно; между ними приходится выбирать, и всякий, кто пытался максимизировать одну, кончал скрепками. Мера — это форма, в которой множество благ может существовать вместе. Убрать меру — значит оставить одно и превратить в него всё.

Так что современный вывод прост и неутешителен. Мы живём в первой культуре в истории, которая сделала безмерность нормой и назвала её ростом, эффективностью, самореализацией, стремлением к лучшему. «Ничего сверх меры» звучит в ней не как мудрость, а как оправдание неудачника. Человек, сказавший «мне достаточно», подозрителен: не амбициозен, не мотивирован, сдался. Ницшевский всадник, бросивший поводья, — не поэтический образ, а описание того, как устроены экономика, работающая на бесконечный рост, технология, оптимизирующая один показатель, и личная жизнь, в которой каждая сторона должна быть «на максимуме». Дельфийская надпись сегодня — контркультурный лозунг. Умение остановиться, знать, где хватит, отойти, сделав дело, — уже не добродетель благоразумных, а редкое мастерство, которым приходится овладевать против течения, и овладевший им выглядит, как Сократ на площади: странно, неудобно и подозрительно спокойно.

Паузы между нотами

Пианист Артур Schnabel, один из величайших исполнителей Бетховена, сказал однажды: «С нотами я обращаюсь не лучше многих пианистов. Но паузы между нотами — вот где живёт искусство». Это не кокетство. Ноты одни и те же у любого, кто выучил партитуру; ученик и мастер нажимают одни и те же клавиши в одном порядке. Разница между ними — не в том, что, а в том, сколько: сколько веса на эту ноту, сколько тишины после неё, на сколько раньше или позже, чем написано, потому что написанное — приблизительно, а точное — не записывается. Виртуоз отличается от ремесленника не силой. Ремесленник рубит, виртуоз находит зазор.

Теперь я могу сказать, что такое мера на языке этой книги, и первое, что нужно сделать, — снять с неё дурное имя.

Мы привыкли слышать «золотая середина» как синоним посредственности, компромисса, теплостудности — того самого состояния, о котором в Апокалипсисе сказано: «ты тёпл, а не горяч и не холоден», — и обещано извергнуть из уст. И это презрение справедливо — только направлено оно не на меру, а на её подделку. Теплостудность — это провисшая тетива: середина, полученная убавлением натяжения с обеих сторон, когда лук вроде цел, но не стреляет. Компромисс — это среднее арифметическое между двумя требованиями: вы хотели десять, он два, сошлись на шести, и никто не спросил, сколько нужно делу. Осторожность — это систематический недоход, недостаток, притворившийся добродетелью: всегда чуть меньше, на всякий случай, — и Аристотель называл это трусостью, а не мужеством. Правило — «не больше двух бокалов», «не больше часа в день» — полезная подпорка для того, у кого меры ещё нет, но не мера: правило не знает, что сегодня свадьба дочери, а завтра операция. Всё это — попытки получить меру, не имея её, и все они выдаются одним: они действуют до того, как посмотрели на вещь.

Мера — противоположное. Мера — это точность: правильное количество в правильный момент по отношению к вот этой вещи. Сколько, когда, к чему. Она не меньше и не больше; она — столько. Иногда «столько» — это всё, без остатка: Аристотель говорил, что мужество порой требует жизни, и мера человека, спасающего тонущего ребёнка, — прыгнуть, а не рассчитать усилие. Иногда «столько» — ничего: не сказать слова, не сделать шага, не помочь, потому что помощь здесь была бы захватом. Мера не имеет предпочтительной величины. У неё есть только предмет — вот эта вещь, вот сейчас, вот от меня, — и всё, что она делает, она делает, глядя на него, а не на себя. Она относительно нас, как говорил Аристотель, и относительно времени, как говорили конфуцианцы, и относительно строения вещи, как показал повар Дин. Потому её нельзя запасти впрок, записать правилом, сделать однажды и повторять: точка, в которую надо попасть, движется, и попасть в неё можно, только целясь каждый раз заново.

Отсюда следует ответ на вопрос главы — почему всякое благо, доведённое до предела, становится злом, — и ответ этот тройной, потому что три традиции увидели три грани одного.

Первое — гераклитово: благо есть натяжение, а не вещество. Всякая добродетель держится противотягой, которая не даёт ей стать собой без остатка: щедрость — расчётом, честность — милосердием, забота — уважением, праведный гнев — справедливостью. Убрать противотягу, «очистить» добродетель до предела — значит превратить лук в палку или порвать его; и печень Мерца была ядом не потому, что в ней было слишком много витамина, а потому, что вокруг не осталось ничего другого.

Второе — конфуцианско-даосское: благо служит чему-то и в избытке съедает то, чему служило. Забота существует ради того, чтобы ребёнок вырос; сверх меры она съедает рост. Точность существует ради дела; сверх меры — становится перфекционизмом, который не даёт делу завершиться. Отдых нужен для жизни; сверх меры он и есть отсутствие жизни. Сосуд наполняют, чтобы из него пить, — и наполненный доверху он выливает всё. Каждое благо — часть чего-то большего, и, забыв об этом, оно начинает работать против целого, как орган, разросшийся в опухоль.

Третье — то, что мы увидели в истории со скрепками: благ много, и мера — единственная форма, в которой они помещаются рядом. Максимизировать одно — значит уничтожить остальные не по злобе, а по геометрии: они занимали место. Человек без меры — не человек с одной страстью; это человек, из которого одна страсть вытеснила всё, и на месте свободы, любви, дела, покоя, дружбы стоят скрепки — карьера, или идея, или контроль, или даже забота о близких, — и всё это, будучи благом, стало адом по чертежу Гёльдерлина.

И теперь можно увидеть то, ради чего эта глава поставлена последней в первой части. Каждый зазор, о котором шла речь в предыдущих четырёх главах, имел два способа погибнуть — схлопнуться и разорваться, — и я не оговаривал тогда, что это и есть две стороны меры: недоход и перебор. Догматик, не сомневающийся ни в чём, и циник, сомневающийся во всём,

— это трусость и безрассудство в области сомнения. Тот, для кого слово равно вещи, и тот, для кого слово равно ничему, — недолёт и перелёт в области языка. Тот, кто принимает очевидное за верное, и тот, кто считает рассуждение бесполезным, — два промаха мимо одной цели. Держать зазор открытым — значит не дать ему ни закрыться, ни порваться, а это и значит удерживать натяжение лука.

Мера — общая форма всех зазоров. И она же — пятый инструмент, управляющий четырьмя предыдущими: сколько времени держать вопрос открытым, прежде чем ответить; сколько сомневаться, прежде чем идти; насколько разбирать слово, прежде чем им пользоваться; когда включать три такта, а когда идти прямо. Ни один из первых четырёх инструментов не содержит указания о собственной дозе. Сократовское незнание сверх меры — паралич; сомнение сверх меры — цинизм; разбор слов сверх меры — немота; логика сверх меры — та бесплодная строгость, при которой человек проверяет силлогизмы, пока жизнь проходит мимо. Дозу задаёт мера, и без неё все остальные орудия — витамин А.

Как её обрести? Здесь я могу лишь собрать то, что сказали учителя, и добавить одно.

Аристотель: знай, куда тебя сносит, и целься дальше от этого берега. У каждого есть свой крен — к избытку или к недостатку, к действию или к промедлению, к близости или к дистанции, — и человек обычно принимает свой крен за прямизну. Половина точности — в знании собственной кривизны. Он же: не доверяй приятному, потому что в его сторону промахиваются почти все, и промахиваются с чувством правоты.

Лао-цзы: следи за концом. Мера чаще всего теряется в последнем движении, когда дело уже сделано, а рука по инерции продолжает, — и потому научиться останавливаться чуть раньше, чем хочется, значит освоить большую часть искусства. Сделав дело, отойди. Повар Дин вытирает нож.

Конфуций: у меры есть внешняя проверка — тот самый сосуд из храма луского князя, о котором шла речь выше: он либо стоит, либо опрокидывается. Не верьте своему чувству меры; верьте тому, что происходит с вещью, к которой вы её приложили: растёт ли ребёнок, живёт ли дело, продолжается ли разговор, держится ли тело. Мера — единственная из добродетелей, которую можно проверить по последствиям без всякой теории, и последствия говорят раньше, чем чувство, если их слушать.

Повар Дин: в трудном месте не дави — замедлись. Когда что-то не идёт, инстинкт велит нажать сильнее; мера велит остановиться, взглянуться и найти, где вещь расходится сама. Усилие, наткнувшееся на сопротивление, почти всегда направлено не в зазор, а в кость.

И то, что добавлю я: мера — это форма внимания, а не форма сдержанности. Сдержанный человек смотрит на себя — на то, чтобы не переборщить; человек меры смотрит на вещь — на то, сколько ей нужно. Первый обычно недодаёт, потому что боится; второй даёт столько, сколько требуется, и иногда это очень много. Меру нельзя нарастить, укрощая себя; её можно нарастить, только научившись видеть другое — ребёнка, дело, собеседника, собственное тело — как то, что имеет собственное устройство и собственные промежутки, а не как поле для приложения моей энергии. Мера — уже этика, хотя мы до этики ещё не дошли: она начинается там, где я перестаю быть единственной мерой всех вещей и начинаю мерить вещи ими самими. Оттого повар Дин и говорит, что через три года перестал видеть быка: он перестал видеть объект своего усилия и начал видеть устройство, у которого есть свои проходы. Так же перестаёт видеть «ребёнка, которого надо воспитать» родитель, обретший меру, и начинает видеть человека, у которого есть свои сочленения. Мера — это когда нож тонок, а у вещи есть зазор; и всё, что нужно, — попасть в него.

Самое сильное возражение

Здесь должен встать человек, которого я уважаю, и сказать то, что думают многие, но не решаются произнести вслух.

«Ваша мера — философия сытых и осторожных. Всё великое в истории сделано людьми без меры: Микеланджело, четыре года лежавший под потолком; Ньютон, забывавший есть; Ван Гог, писавший по картине в день и умерший нищим; святые, раздавшие всё; революционеры, отдавшие жизнь; матери, любящие безмерно — потому что мать, любящая „в меру“, это не мать, а опекун. Христос сказал: будь горяч или холоден; тёплого извергну. Блейк сказал: дорога излишеств ведёт ко дворцу мудрости. Аристотель, сын придворного врача, воспитатель царевича, проповедовал середину; те, кто двигал мир, о ней не слышали. И вы, переопределив меру как „точность“, сделали её неуязвимой и бессодержательной: теперь любой избыток можно объявить „ровно тем, что требовалось“, и ваш повар Дин станет оправданием любому, кто зарезал быка тупым топором и назвал это попаданием в зазор. А главное — кто определяет меру? В несвободной стране мерой считается молчание; конформист всегда скажет, что „не переступает“; вы вручили ему философское алиби».

Возражение сильное, оно бьёт с нескольких сторон, и я отвечу на каждую, а в конце скажу, что остаётся за пределами любого ответа.

Первое — о великих. Это самое частое и самое поверхностное возражение, потому что оно смотрит на масштаб усилия и принимает его за отсутствие меры. Четыре года под потолком Сикстинской капеллы — это не безмерность; это мера задачи, которую Микеланджело взял, и меньшим она не решалась. При этом всякий, кто видел его мрамор, знает, что нет в истории искусства руки точнее: ни одного лишнего удара резцом — и ему приписывают слова о том, что скульптура есть убирание лишнего. Он был безмерен в масштабе и абсолютно точен в каждом движении, и второе важнее первого, потому что первое без второго дало бы не «Давида», а грудку щебня. Ван Гог — та же история, только рассказанная неверно: его письма брату — это документы человека дисциплины и техники, годами изучавшего перспективу, цвет, рисунок; безумие не породило его картин, оно их оборвало, и он это знал и ненавидел свою болезнь как врага работы. Мать, любящая безмерно, — не идеал, а известный клинический случай, и её дети платят за эту безмерность всю жизнь; настоящая материнская любовь безмерна по глубине и точна по форме — она знает, когда держать и когда отпустить, и отпускание требует большей любви, чем удержание.

А человек, отдающий жизнь за другого, не переступает меру — он попадает в неё: Аристотель прямо говорил, что мужество иногда требует смерти, и это не избыток, а ровно столько, сколько потребовала ситуация. Великие отличаются от прочих не тем, что у них нет меры, а тем, что их мера построена в другом масштабе, и они попадают в неё на этом масштабе так же точно, как ремесленник — на своём. Не всякое «много» есть безмерность. Безмерность — это «много», не глядящее на вещь.

Второе — о теплостудности и о Блейке. Я согласен с Апокалипсисом: тёплое — мерзость. Но я уже сказал, чем оно является: провисшей тетивой, серединой, полученной убавлением, — а не мерой. Христос требует не среднего между горячим и холодным; он требует натяжения, и ослабленный лук противен ему не потому, что он посередине, а потому, что он не стреляет. Что до Блейка — он написал эту строку в книге, которая называется «Бракосочетание Неба и Ада», и главная её мысль в том, что без противоположностей нет движения; он сам был Гераклитом в стихах. Дорога излишеств действительно ведёт ко дворцу мудрости — потому что не изведавший избытка не знает, где мера, и Аристотель, между прочим, говорил то же: добродетель узнаётся через опыт обоих промахов. Но заметьте, что дворец мудрости — не сама дорога. Блейк говорил о пути к мере, а не об отмене её, и всякий, кто остаётся на дороге излишеств до конца, попадает не во дворец.

Третье — о переопределении, и это удар точный. Да, если мера — точность, а точность определяется вещью, то в момент действия человек может солгать себе, что его избыток и есть точность, и никакая теория его не остановит. Здесь у меня два ответа, и один из них — не мой, а Конфуция. У меры, в отличие от почти всех добродетелей, есть внешняя проверка:

сосуд либо стоит, либо опрокидывается. Топор, названный точным, обнаруживает себя тупостью ножа через месяц; забота, названная мерной, обнаруживает себя тем, что ребёнок в тридцать лет не может выбрать, что заказать в кафе; революция, назвавшая себя точной, — гильотиной. Мера не оправдывается словом; она оправдывается тем, что происходит потом с вещью, к которой её приложили, — и последствия не читали трактатов, их нельзя переубедить. Человек, зарезавший быка топором и назвавший это попаданием в зазор, может обмануть себя и слушателей, но не нож: через месяц лезвие тупое, и это факт, а не мнение. Именно поэтому мера — самая честная из добродетелей: она единственная, у которой есть суд, не зависящий от красноречия подсудимого.

Второй ответ — мой, и он касается того, куда смотрит человек в момент действия. Подделку меры можно распознать ещё до последствий по одному признаку: подделка смотрит на себя. «Я даю столько, сколько нужно» — фраза, которую произносит и мастер, и самообманщик; но мастер, произнося её, смотрит на быка, а самообманщик — на собственную руку и на то, как она выглядит. Спросите себя, чем вы заняты в момент усилия: вещь или собой, — и вы, как правило, узнаете, чем является ваше «ровно столько». Это не гарантия. Это то, что Бэкон называл подпоркой для неровного зеркала: не устраняет кривизну, но позволяет её учитывать. Большого у меры нет; но и у логики, как мы видели, большего не было.

Четвёртое — о конформисте, и здесь возражение сильнее всего, потому что оно указывает на реальную историческую вину. Да, слово «мера» служило алиби. «Не высовывайся», «не лезь», «всё в меру» — так говорили в самых страшных обществах, и говорили это те, кто молчал, когда молчать было нельзя. Но посмотрите, что они делали с мерой. Они превращали её в правило — в постоянную величину, в «всегда чуть меньше», в систематический недоход, — а мы установили, что это не мера, а трусость, притворившаяся ею. Мера в несвободной стране — не молчание; мера — это то, что сделал Сократ, когда отказался ставить на голосование незаконный приговор, и то, что он сделал, когда отказался вести на казнь невинного: ровно столько сопротивления, сколько требовала ситуация, — и не меньше, потому что меньше было бы недолётом. Конфуций, на которого конформисты ссылались двадцать пять веков, сам говорил, что благородный муж, когда в государстве нет пути, уходит, а не приспосабливается, и что стыдно быть богатым и знатным в бесчестном государстве.

Мера не знает предпочтительной стороны, я это повторю: она не «поменьше», она — «столько». В иные времена «столько» означает всё, включая жизнь, и человек, который в такое время говорит «всё в меру» и остаётся дома, промахивается не меньше того, кто в мирное время устраивает революцию из-за очереди. Оба не глядят на вещь. Что до вопроса «кто определяет меру» — ответ был дан выше: не тот, кто действует, и не тот, кто судит, а сама вещь, к которой мера приложена, и время, в котором она приложена. Общество, где мерой объявлено молчание, опрокидывается — медленнее сосуда, но так же неизбежно; и в этом смысле история — тот же луский храм, только вода наливается десятилетиями.

И вот что остаётся, потому что остаётся всегда. Критик может сказать: но ведь в момент действия ничего этого нет — ни последствий, ни суда, ни времени на размышление о том, куда я смотрю. Есть я, есть вещь и есть движение руки, и никакая философия не скажет мне в этот миг, сколько. Это правда. Мера не даётся знанием, и Аристотель сказал это первым: она в восприятии, как глазомер, и нарабатывается упражнением, а не усваивается из книг. Я могу описать её, объяснить, почему она необходима, показать, как выглядит её отсутствие, — но я не могу вложить её в руку читателя, как не может учебник дать читателю слух пианиста. Эта глава, как и все предыдущие, доводит до двери; за дверью — годы промахов, из которых складывается глазомер, и никакого другого способа нет. Единственное утешение — что промахи тоже имеют меру: если смотреть на вещь, они уменьшаются; если смотреть на себя — нет.

Что уносить с собой

Благо — не вещество, а натяжение, и потому оно не переносит собственной максимизации: убрав противотягу, вы получаете не больше блага, а палку вместо лука. Оно служит чему-то большему и в избытке съедает то, чему служило, — как собачья печень съела Мерца. И благ много; мера — единственная форма, в которой они помещаются рядом, а человек, поставивший одно выше всех, кончает скрепками — независимо от того, насколько прекрасно было это одно.

Мера — не середина, не умеренность, не осторожность и не правило; всё это её подделки, узнаваемые по одному признаку: они действуют, не посмотрев на вещь. Мера — точность: столько, сколько нужно этому, сейчас, от меня. Иногда это всё. Иногда ничего. Её нельзя запасти, потому что цель движется; нельзя вывести из правила, потому что правило не знает, что сегодня — не вчера; нельзя нарастить сдержанностью, потому что сдержанный смотрит на себя, а мера требует смотреть на другое. Она — форма внимания. Обретают её, узнавая собственный крен и целясь от него; следя за концом, где рука лишний раз наливает; не давя в трудном месте, а вглядываясь, где расходится само; и проверяя не по чувству, а по тому, стоит сосуд или опрокинулся.

И она — общая форма всех зазоров этой книги. Схлопнуть и разорвать — недолёт и перелёт; держать — попасть. Четыре инструмента первой части — незнание, сомнение, разбор слова, три такта — не содержат указания о собственной дозе, и без пятого каждый из них становится ядом: паралич, цинизм, немота, бесплодная строгость. Мера — не пятый инструмент в ряду, а то, что держит четыре предыдущих в руке и решает, когда какой брать и когда отложить. Повар Дин вытирает нож и убирает его.

Мы тоже уберём инструменты — они наточены настолько, насколько их можно наточить словами, — и пойдём с ними туда, где они нужны: к вопросу о том, что реально, кто такой «я», где мы живём во времени, что делает с нами смерть и сколько в нас свободы. Это вторая часть, и она о мире, а не о мысли.

Но мысль — нож без толщины, и тупится он только о то, во что входит криво.

Лаборатория: добродетель, ставшая пороком

Найдите в своей жизни одно качество, которым вы гордитесь — или гордились — и которое, если посмотреть честно, перешло меру и стало работать против того, ради чего существовало. Не порок, в котором вы себя упрекаете: пороки видны, о них вы и так знаете. Именно достоинство. Забота, ставшая контролем. Честность, ставшая привычкой ранить и называть это прямоотой. Ответственность, ставшая тревогой, от которой не спят и которая делу не помогает. Требовательность к себе, ставшая неспособностью закончить хоть что-нибудь. Терпение, ставшее согласием с тем, с чем мириться не следовало. Щедрость, ставшая тем, чем пользуются другие. Стремление понять, ставшее нерешительностью. Ищите там, где вам говорили «ты слишком», а вы отвечали «зато я»: «зато я хорошая мать», «зато я честный человек», «зато на меня можно положиться». Одно.

Напишите его сверху листа — в той форме, в какой оно было достоинством: не «контроль», а «забота»; не «жестокость», а «честность». Это важно: вы должны увидеть, что перед вами то же самое качество, а не другое. Печень осталась печенью — ядом её сделала безмерность, а не она сама.

Теперь спросите, чему это качество служило. Ради чего существует забота — чтобы ребёнок вырос. Ради чего честность — чтобы между людьми была правда, на которой можно строить. Ради чего ответственность — чтобы дело делалось. Запишите.

Затем спросите о сосуде: что происходит сейчас с тем, чему оно служило? Растёт ли тот, о ком вы заботитесь, или научился только ждать ваших указаний? Строится ли на вашей правде что-нибудь, или люди стали избегать разговоров с вами? Делается ли дело, или вы так заняты тревогой о нём, что на него самого не остаётся сил? Отвечайте не тем, что вы чувствуете,

— чувство меры у вас, если вы выбрали это качество честно, уже сбито, — а тем, что видно снаружи: последствиями. Сосуд стоит или опрокинулся.

Затем найдите противотягу — то, что удерживало качество в мере, пока оно было мерным, и что исчезло. У заботы противотяга — уважение к чужой отдельности: право другого ошибиться, упасть, сделать по-своему. У честности — милосердие: вопрос, нужна ли эта правда сейчас этому человеку и зачем я её говорю. У ответственности — доверие: к другим, к тому, что мир не рухнет, если я на час отвернусь. Найдите, что именно ослабло, и заметьте, что вы не заметили, как оно ослабло: тетива провисает молча, а лук выглядит целым до последнего момента.

И спросите о конце — по Лао-цзы. Где то последнее движение, лишний шаг, который вы делаете по инерции, когда дело уже сделано? Ещё один вопрос ребёнку после того, как он ответил. Ещё одна фраза после той, которая уже была правдой. Ещё одна проверка после той, которая всё показала. Назовите этот шаг конкретно: как он выглядит, когда происходит, что вы говорите или делаете. Это и есть место, где мера теряется у вас. Оно, как правило, одно и то же — повторяющееся из раза в раз. Знать его в лицо — уже половина дела.

Ничего не решайте про «уменьшить». Уменьшение — та же ошибка с другого конца: сдержанность смотрит на себя. Вместо этого в течение недели попробуйте один раз — один — в момент, когда почувствуете, что это качество в вас поднимается, посмотреть не на себя — не на то, «не переборщил ли я», — а на вещь: на этого человека, на это дело — и спросить: сколько ему нужно? Не сколько я могу дать, не сколько полагается, не сколько я обычно даю, — сколько нужно ему, здесь, сейчас. Ответ может оказаться меньше привычного. Может — больше. Может — ничего. Дайте столько и остановитесь.

Потом, как повар Дин, отойдите и оглядитесь: что произошло с вещью? Это единственная проверка, которая у меры есть, — и её достаточно.

Часть II. Устройство реальности и человека

Что есть мир, кто есть я, что такое время, смерть и свобода.

Глава 6. Что реально?

Двадцать долларов в день

Летом 1951 года в психологической лаборатории Университета Макгилла в Монреале начали набирать добровольцев на самую лёгкую работу, какую когда-либо предлагали студентам. Платили двадцать долларов в день — примерно вдвое больше обычного студенческого заработка — за то, чтобы ничего не делать. Буквально: лежать на удобной кровати в небольшой комнате, в тишине, в тепле, сколько захочется. Кормили, водили в туалет; всё остальное время — покой. Единственное условие: на глазах — полупрозрачные очки, пропускающие свет, но не образы; на руках — хлопковые перчатки и картонные манжеты до локтя, чтобы пальцы ничего не ощупывали; голова — на подковообразной подушке, глушащей звуки; и поверх всего — ровный гул кондиционера, съедающий остальное. Мир не отключали. Мир делали гладким: свет без очертаний, звук без событий, прикосновение без предметов.

Руководитель лаборатории Дональд Хебб ожидал, что студенты будут лежать неделями и наслаждаться. Они не продержались. Большинство запросилось наружу через двое-трое суток, немногие — через четверо; и уходили они не потому, что было скучно. Они уходили потому, что с ними происходило нечто, чего они не могли объяснить. Сначала уплывало мышление: человек пробовал думать о чём-то — о своей дипломной работе, о девушке — и через несколько минут обнаруживал, что мысль рассыпалась, и не мог собрать её назад. Потом начались видения: сначала точки и линии, потом узоры, как на обоях, потом целые сцены — процессия белок с мешками на плечах, идущая через снежное поле; доисторические животные; очки, плывущие по улице. Испытуемые описывали их как настоящие — не воображаемые, а увиденные.

Некоторые слышали голоса. У одного было ощущение, что ему в руку попала пуля. У других тело раздваивалось: они чувствовали, что лежат в двух местах сразу, или что голова отделилась и висит в стороне. А когда их выпускали, всё вокруг казалось им неустойчивым: стены дышали, предметы меняли размер, пол наклонялся; и некоторое время они не могли отделаться от чувства, что всё это — не совсем реально.

В 1957 году Вудберн Херон опубликовал отчёт об этих опытах в *Scientific American* под названием «Патология скуки», и название было неточным. Скука — это когда ничего не происходит, а с этими людьми происходило слишком много. Правильнее было бы назвать это патологией гладкости. У них отняли не мир, а его сопротивление: свет остался, но не сопротивлялся взгляду; поверхность осталась, но не сопротивлялась пальцам; звук остался, но ничему не соответствовал. Сопротивление — это когда вещь оказывается не такой, какой мы её ждали, и приходится подстраиваться под неё. В комнате подстраиваться было не подо что. И ум, не встречая ничего, что могло бы стать опорой, начал производить мир сам — из себя, из своего шума, — и производимое было неотличимо от воспринимаемого, потому что различать стало нечем.

Реальность — не то, что видят и слышат. Реальность — то, обо что видение и слышание ударяются. Уберите удар — и через трое суток здоровый двадцатилетний человек не сможет сказать, где кончается он и начинается комната.

Я начинаю главу о реальности с этой комнаты, потому что вопрос «что реально?» обычно задают не так. Обычно его задают, глядя на мир и спрашивая, не обман ли он — не сон ли, не экран ли, не выдумка. Это законный вопрос, и половина главы будет о нём. Но комната в Монреале задаёт другой вопрос, более практичный: не «настоящий ли мир», а по чему мы вообще узнаём настоящее — что за признак отличает его от воображаемого, и что случается с человеком, у которого этот признак отбирают. Оказывается, отобрать его можно не только очками и манжетами. Можно гораздо мягче — и незаметнее.

Свет, от которого больно

Самый знаменитый образ в истории философии — тоже комната, и в ней тоже лежат люди, которым не больно.

В седьмой книге «Государства» Платон предлагает представить пещеру, в которой с детства сидят узники, скованные так, что могут смотреть только перед собой — на стену. За их спинами, выше, горит огонь; между огнём и узниками проходит дорога, вдоль неё тянется невысокая стенка — «вроде ширмы, за которой фокусники показывают кукол» — и по дороге ходят люди, пронося над ширмой всякую утварь, статуи, изображения животных. На стене перед узниками — тени этих предметов; узники всю жизнь видят только их, разговаривают о них, дают им имена, состязаются в том, кто точнее предскажет, какая тень пойдёт за какой, и награждают победителей. Тени для них и есть вещи. Иного они не видели.

Дальше происходит то, о чём обычно все помнят: одного из узников освобождают, заставляют встать, повернуться и пойти к свету. Но обратите внимание на одну важную деталь, которую Платон повторяет несколько раз и без которой весь миф теряет половину смысла. Освобождённому — больно. Больно отвыкшей шее, которую приходится поворачивать; больно глазам, с непривычки смотрящим на огонь. Он не в силах разглядеть сами предметы, чьи тени видел раньше. И если бы его спросили, он ответил бы, что тени были куда яснее и реальнее, — и отчаянно захотел бы вернуться обратно во мрак.

Его приходится тащить наверх силой, волоком по крутому подъёму, а на выходе из пещеры солнечный свет ослепляет его настолько, что поначалу он вообще ничего не видит. Зрение возвращается постепенно: сначала он начинает различать тени, затем — отражения в воде, потом уже сами вещи, ночное звездное небо, и лишь в самом конце — солнце. Но представьте, что он спускается назад, в пещеру, чтобы рассказать обо всем остальным. Во тьме он теперь видит хуже них, не может наравне с ними угадывать тени на стене, и узники поднимают его на смех: мол, сходил наверх и только испортил себе глаза. А если бы кто-то попытался их освободить и тоже увести наверх, то, как пишет Платон, они бы попросту убили его, если бы смогли дотянуться.

Платон написал эти строки через четверть века после того, как афиняне приговорили к смерти его учителя Сократа, заставив выпить яд. Так что слова об убийстве освободителя — отнюдь не просто риторика. Но для нашего разговора сейчас важнее другое. Тени не сопротивляются. Они послушны взгляду, привычны и безболезненны. Их поведение легко предсказать, о них можно спорить с абсолютной уверенностью — ведь они никогда не возразят. А вот реальность — сопротивляется. Она бьет по глазам, ломит шею, сбивает ноги на крутом подъёме. Она причиняет боль тому, кто осмеливается к ней повернуться. И эта боль — не признак ошибки. Наоборот, это главное доказательство того, что человек движется в правильном направлении.

Платон, конечно, имел в виду нечто большее. Для него истинная реальность — это не то, что видят глаза [даже привыкшие к свету], а то, что постигает ум: вечные, неизменные идеи. По отношению к ним даже реальные вещи под солнцем — лишь бледные копии, а тени на стене пещеры — это уже копии копий. Философский спор о том, существуют ли такие идеальные образцы, длится две с половиной тысячи лет, и я не претендую на то, чтобы поставить в нём точку. Однако одну вещь Платон сформулировал гениально и безотносительно исхода этого спора: у реальности есть степени. Человек вполне может прожить жизнь на самом низшем её уровне, искренне считая его единственно возможным, и не желать ничего большего. И не потому, что он глуп. А потому, что на этом нижнем уровне — не больно.

Мы ещё вернёмся к мысли о том, что реальность многослойна. Но пока давайте запомним главное: там, в пещере, за спинами узников стоят люди, которые проносят предметы перед огнём. Тени на стене не появляются сами по себе. Их кто-то целенаправленно показывает.

Атомы и упрёк чувств

Примерно в те же годы, когда Платон писал своё «Государство», в Абдерах, на фракийском берегу, жил человек, ответивший на вопрос о реальности прямо противоположным образом — и его ответ по сей день остается ближе к тому, как описывает мир современная физика. Демокрит учил, что существуют только атомы и пустота. Атомы — это неделимые, невидимые, вечные частицы, различающиеся формой, порядком и положением, а пустота — то пространство, в котором они движутся. Всё остальное — лишь временные соединения, которые складываются и распадаются. Из этого он вывел следствие, опередившее европейскую науку на две тысячи лет: «По установлению — сладкое, по установлению — горькое, по установлению — тёплое, по установлению — холодное, по установлению — цвет; в действительности же — атомы и пустота». Сладость не содержится в самом мёде. В мёде есть лишь атомы определённой формы, а сладость возникает, когда эти атомы встречаются с языком; она — не свойство вещи, а событие на границе вещи и тела. Цвет не заключен в розе: в ней есть нечто, что при встрече с глазом воспринимается как красное, но само по себе оно красным не является. То, что мы принимаем за мир, — не сам мир, а его отпечаток на нас, и отпечаток этот скроен по нашей мерке, а не по мерке вещи.

Это был первый в истории мысли шаг к тому, что через двадцать веков назовут разделением на первичные и вторичные качества, а ещё через три столетия — нейронаукой восприятия.

Но от Демокрита до нас дошел ещё один фрагмент, менее известный и, на мой взгляд, куда более глубокий. Античный врач Гален передаёт его суть так: разум, установив, что в действительности есть только атомы и пустота, а цвета и вкусы — лишь субъективное мнение, торжествует над чувствами. И тогда чувства отвечают ему: «Жалкий ум! Взяв от нас свои доказательства, ты нас же и низвергаешь? Наше падение — это твоё падение». Остановитесь на этом моменте. Откуда ум вообще узнал об атомах? Из наблюдений: из того факта, что вещи истираются, испаряются, растворяются, что запах разносится по воздуху. Всё это дали уму глаза, нос и руки. Он взял их показания, выстроил из них теорию и, едва построив, объявил эти показания недостоверными. Но если недостоверны чувства, то недостоверно и всё, что на них построено, — включая сами атомы. Разум, отменяющий чувства, рубит сук, на котором сидит.

Демокрит сам увидел эту уязвимость в собственной теории и оставил её как предупреждение — причём не чувствам, а уму: ты не можешь выйти за пределы мира, в котором стоишь, чтобы объявить его ненастоящим; у тебя нет иной опоры, кроме той, которую ты сейчас объявляешь ненадёжной. Это та же метафора корабля Нейрата из второй главы, только придуманная на две тысячи лет раньше. Она нам ещё понадобится, когда мы дойдём до гипотезы симуляции: любой аргумент против реальности мира вынужден брать свои предпосылки из этого самого мира.

Пинок по камню

Шестого августа 1763 года, выйдя из церкви, британский мыслитель Сэмюэл Джонсон и его молодой почитатель Джеймс Босуэлл заговорили о философии епископа Беркли. Босуэлл заметил, что учение Беркли о несуществовании материи невозможно опровергнуть — даже при том, что все абсолютно убеждены в его ложности. «Никогда не забуду, — пишет Босуэлл, — с какой быстротой Джонсон ответил, со всей силы пнув большой камень, так что его нога даже отскочила: "Я опровергаю его вот так"». Этот пинок вошёл в историю как ярчайший образец здравого смысла, торжествующего над заумной философией. И он же — идеальный образец того, как здравый смысл промахивается.

Джордж Беркли, ирландский епископ, опубликовавший в 1710 году «Трактат о принципах человеческого знания», вовсе не был безумцем, отрицающим существование камней. Его аргумент был кристально прост и до сих пор не имеет прямого логического опровержения. Что я вообще знаю о камне? Его цвет — это ощущение моего зрения. Его твёрдость — ощущение осязания. Его вес, его холод, звук, с которым он падает на землю, боль в ударившей его ноге

— всё это лишь ощущения. Кроме них мне о камне не дано [и не может быть дано] ничего, потому что всякое «дано» — это уже акт восприятия.

Философы говорят: за нашими ощущениями стоит материя — некий немыслящий носитель, который их вызывает. Но попробуйте показать мне эту материю отдельно от ощущений. Вы не сможете, ведь вы никогда не выходили за пределы собственного восприятия, чтобы сравнить его с тем, что якобы находится за ним. Значит, «материя» — это не факт наблюдения, а всего лишь предположение, причём пустое. Оно ничего не объясняет, потому что никто так и не сумел внятно сказать, как немыслящая, протяжённая в пространстве вещь способна порождать в нас мысль и чувство. Отбросьте идею материи — и в реальности ничего не изменится: камень останется тем же камнем, со всеми его привычными свойствами, просто потому, что все его свойства всегда и были только ощущениями. *Esse est percipi* — существовать значит быть воспринимаемым. И пинок Джонсона ничего не опроверг: боль в его ноге — это тоже форма восприятия, и Беркли первым бы подтвердил, что она совершенно реальна.

А почему же тогда камень продолжает лежать на своём месте, когда Джонсон от него отворачивается, и почему все видят один и тот же камень? Беркли отвечал: потому что его непрерывно воспринимает Бог. Мир — это не иллюзия, а связанная система идей, которую Бог поддерживает в бытии, а мы читаем её так, как читают книгу, написанную на языке ощущений. В двадцатом веке об этом сложили известный английский лимерик: молодой человек удивляется, что дерево во дворе продолжает стоять, когда на него никто не смотрит, на что получает ответ: «Ваше удивление странно: я всегда во дворе, и потому дерево будет стоять, пока за ним наблюдаю Я, — искренне Ваш, Бог».

Звучит смешно, но это абсолютно точное изложение сути: Беркли заткнул прореху в своей системе Богом, и дыра эта зияла так широко, что закрыть её мог только Он. Уберите Бога — и останется вопрос, на который у чистого идеализма нет ответа: почему мир упорядочен так, будто ему совершенно всё равно, воспринимаю я его или нет?

Но обратите внимание: Джонсон, промахнувшись как философ, попал в цель чисто человечески. Он не стал выстраивать аргументы. Он ударил — и отскочил. Его тело выразило то, чего не смог сформулировать язык: реально то, что даёт сдачи. Он мог сколько угодно хотеть, чтобы камень подался, но камень не уступил. И вот это «не подался» и стало его настоящим, глубинным доводом. Только это был довод не в пользу существования абстрактной «материи», а в пользу чего-то совершенно иного, к чему мы ещё придём. Беркли был прав в том, что за ощущениями не прячется никакая доказуемая «материя». Но и Джонсон был прав: среди наших ощущений есть такие, которые абсолютно не подчиняются нашим желаниям. И именно это сопротивление, а не взгляд Бога, делает камень — камнем.

Очки, которые нельзя снять

Прочитав Беркли и Юма, Иммануил Кант ужаснулся выводам обоих и написал книгу, которая должна была спасти реальность от одного, а знание — от другого. Она называется «Критика чистого разума». Её главную мысль обычно излагают настолько путано, что стоит потратить один абзац, чтобы сформулировать её предельно ясно.

Кант соглашается с Беркли в исходном пункте: мы никогда не имеем дела с вещами вне нашего восприятия. Но вывод он делает совершенно иной. Восприятие, говорит Кант, — это не пассивная фотоплёнка, на которой мир оставляет свой отпечаток. Это активная форма, которую наш ум накладывает на всё, с чем сталкивается. Пространство и время — не свойства самого мира, которые мы в нём обнаруживаем; это сам способ нашего восприятия. Они — словно очки, через которые мы смотрим на всё вокруг. И снять их невозможно, потому что без них наши глаза попросту не видят.

То же самое касается причинности, единства, числа: это не то, что мы «вычитываем» из мира, а те инструменты, благодаря которым мы вообще способны его прочесть. Отсюда вытекает следствие, которое Кант сравнивал с переворотом Коперника: не наше познание подстра-

ивается под предметы, а предметы — под наше познание. А значит, мы знаем о них не то, каковы они сами по себе, а то, каковы они для нас — как явления. Вещь сама по себе [ноумен] — то, что находится «за очками», — недоступна нам не из-за слабости нашего ума, а в силу самого его устройства. Мы можем лишь мыслить её как предел, за который нельзя заглянуть, потому что любая попытка туда заглянуть — это снова акт восприятия.

Обычно на этом месте люди останавливаются и делают ложный вывод: значит, мы ничего не знаем о реальности. Кант утверждал ровно обратное, и это второе, что необходимо понять. Именно потому, что пространство, время и причинность — это наши формы восприятия, всё, что предстает перед нами в их рамках, подчиняется им безусловно и без единого исключения. Именно поэтому математика достоверна, а физика возможна. Мы познаём явления не приблизительно и не «как бы» — мы познаём их по строгим законам, и более совершенного, лучшего знания не существует в принципе. Кант не отнимает у нас реальный мир. Он отнимает лишь иллюзорную претензию познать его иначе, чем он может быть дан существу, устроенному так, как мы. Явление — не иллюзия. Сон выдаёт себя тем, что не стыкуется с бодрствованием; иллюзия — это когда одно явление противоречит другим. А вот явление, полностью согласованное со всеми остальными, — это и есть то, что мы называем действительностью. И другой действительности у нас нет и быть не может.

Во второе издание «Критики» Кант, задетый тем, что его самого стали причислять к идеалистам, добавил ещё один фрагмент. Он назвал его «Опровержением идеализма», а в примечании к предисловию резко добавил: скандал для философии и общечеловеческого разума заключается в том, что существование вещей вне нас приходится принимать на веру, и если кому-то вздумается в нём усомниться, мы не можем противопоставить ему никакого убедительного доказательства. И Кант предложил такое доказательство. Я осознаю своё существование во времени — я точно знаю, что вот эта мысль была раньше той. Но чтобы зафиксировать время, нужна некая устойчивая точка отсчёта, относительно которой измеряются перемены. Во мне самом ничего неизменного нет — внутри меня всё непрерывно течёт; стало быть, это устойчивое должно находиться вне меня. Внутренний опыт, само осознание себя во времени, возможен только при наличии внешнего опыта.

Декарт начинал с тезиса «я мыслю» и уже из него выводил существование мира. Кант же доказывает, что само «я мыслю» уже требует наличия мира. Нельзя осознавать себя в комнате без стен. Студенты Дональда Хебба в камере сенсорной депривации испытали это на собственном опыте.

Степени бытия

Нам осталось упомянуть ещё одного мыслителя, из тех, кого я обещал упомянуть. Его ответ на вопрос о реальности — самый странный, но для целей нашей главы самый важный.

Барух Спиноза, шлифовальщик линз, отлучённый от амстердамской синагоги в двадцать три года, построил философскую систему, в которой существует только одна субстанция — бесконечная, вечная и обладающая бесчисленными атрибутами, из которых нам доступны лишь два: протяжение и мышление. Эту субстанцию он называл Богом или Природой, ставя между этими словами знак равенства. Всё сущее — камни, тела, мысли, люди, звёзды — это её модусы: способы, которыми она себя выражает, точно так же, как волны — это способы существования моря. Мысль и тело — не две разные сущности, как считал Декарт, а одна и та же вещь, рассмотренная через разные атрибуты.

Человеческий ум — это, по сути, идея тела. В такой картине мира нет пропасти между субъективным «я» и объективным миром, которую нужно перепрыгивать с помощью сложных доказательств. Я — часть того же самого целого, что и всё остальное. Вопрос о том, есть ли что-то за моими восприятиями, здесь даже не ставится, потому что мои восприятия — это и есть тот самый способ, которым природа существует в данной конкретной точке пространства и времени.

Но я упоминаю здесь Спинозу ради одного его утверждения, которое часто обходят стороной. В шестом определении второй части «Этики» он пишет: «Под реальностью и совершенством я понимаю одно и то же». Реальность для него — это не бинарный признак, который либо есть, либо отсутствует. Реальность — это величина. Вещь тем реальнее, чем больше в ней силы существовать и действовать, чем больше она способна производить следствий и выдерживать внешние воздействия. Вещи различаются не только тем, что они существуют, но и тем, насколько интенсивно они существуют.

Спиноза в этом подходе не первый: у Платона тени менее реальны, чем сами вещи, а вещи менее реальны, чем идеи; у Аристотеля и средневековых схоластов бытие тоже имеет свои степени. Но у Спинозы эта градация напрямую связана с силой: реально то, что обладает способностью к действию. Мысль о льве и живой лев — оба существуют. Но живой лев существует в несравненно большей степени, потому что способен на несравненно большее: он может оставить след, растерзать жертву, умереть, произвести потомство. А вот мысль о льве способна лишь на то, что я сам ей позволю. У реальности есть своя шкала, и мерилom на ней служит способность вещи действовать помимо моего на то согласия.

Соедините теперь идеи всех пятерых. Платон: реальность имеет степени, и чувственный мир, где мы испытываем боль, — лишь тень мира идей. Демокрит: то, что мы воспринимаем, — это лишь слепок, сделанный по нашей собственной мерке, но отменить восприятие означает отменить и того, кто его воспринимает. Беркли: за восприятием невозможно обнаружить ничего, кроме самого восприятия. Кант: наше восприятие оформлено нашим собственным сознанием, но внутри этой формы мир познается достоверно, а само мое «я» требует наличия чего-то внешнего, чтобы вообще существовать. Спиноза: реально то, что обладает силой; реальность — это измеримая величина.

Ни один из них не сказал в точности того, к чему веду я. Но все пятеро, каждый со своей стороны, вплотную подступили к одному и тому же ответу. Нам осталось лишь его назвать.

Что мы знаем теперь

Прежде чем сделать это, необходимо посмотреть, что за три последних века добавилось к этому философскому спору. А добавилось многое, и в одном отношении новые знания сделали вопрос о том, что такое реальность, даже более острым, чем во времена Платона.

Начнём с того, что современная наука подтвердила догадки Демокрита и Канта почти буквально. Цвета как такового в объективном мире не существует. Есть лишь электромагнитное излучение разных длин волн; человеческий глаз содержит три типа колбочек, чувствительных к разным участкам спектра, а мозг сравнивает их сигналы и конструирует то, что мы называем красным цветом. Причём конструирует он его не из самой волны, а из соотношения сигналов и собственных ожиданий относительно того, каким должно быть освещение. В феврале 2015 года об этом узнал весь мир благодаря знаменитой фотографии платья, которое половина людей видела бело-золотым, а другая половина — сине-черным. Фотография была одна, длины волн — те же самые, но разные мозги, по-разному оценившие источник света, вычли из визуальной информации разные составляющие и получили в итоге разные цвета. Никто не ошибался, и никто не был объективно прав: цвета на самом снимке просто не было.

То же самое происходит со звуком — в физическом пространстве есть лишь колебания давления воздуха, а не сам звук. То же касается и твёрдости: камень, от которого в знаменитом споре с Беркли отскочила нога доктора Джонсона, на атомарном уровне почти целиком состоит из пустоты. То, что не пустило ногу дальше, было не плотным веществом, а электромагнитным отталкиванием между внешними электронными оболочками атомов ботинка и атомов камня. Даже собственное тело мозг не воспринимает напрямую, а конструирует. В 1998 году Мэтью Ботвиник и Джонатан Коэн доказали это в эксперименте с резиновой рукой: если положить перед человеком искусственную кисть, спрятав настоящую, и синхронно поглаживать обе кисточкой, то уже через минуту испытуемый начинает ощущать резиновую руку как

свою собственную. Он вздрагивает, когда по ней бьют молотком, а его мозг ведёт себя так, словно рука настоящая. Ощущение «это моё тело» — вовсе не изначальная данность, а рабочая гипотеза, которую мозг непрерывно проверяет и готов полностью пересмотреть всего за шестьдесят секунд.

Нейробиолог Анил Сет подвёл этому итог формулой, которая звучит скандально, но описывает ситуацию абсолютно точно: восприятие — это контролируемая галлюцинация. Мозг не принимает мир пассивно, как экран принимает транслируемое на него изображение. Мозг непрерывно предсказывает, каким именно должен быть сигнал от органов чувств, сравнивает это предсказание с тем, что реально поступило, и вносит корректировки на основе выявленных расхождений. То, что мы переживаем как уверенное «я вижу», является лишь лучшей на данный момент гипотезой мозга о причинах сигнала, а не самим сигналом. Галлюцинация и нормальное восприятие опираются на один и тот же нейронный механизм; разница лишь в том, что восприятие строго контролируется ошибками предсказания, поступающими из внешнего мира, а галлюцинация — нет. Если отключить поступление этих поправок снаружи — с помощью непроницаемых очков, мягких манжет на руках и монотонного гула кондиционера, — то контролируемая галлюцинация станет неконтролируемой всего за трое суток. Канадский психолог Дональд Хебб в своих экспериментах по сенсорной депривации тогда ещё этого не знал, но на практике сделал именно это.

Заметьте, что в самой этой формуле уже заложен ответ на главный вопрос нашей главы, и я хочу, чтобы он прозвучал ещё до всяких философских выводов. Что именно превращает галлюцинацию в подлинное восприятие? Во все не яркость, не степень детализации и не убедительность картинки — галлюцинации порой бывают гораздо ярче и убедительнее реальности, а испытуемые Хебба описывали привидевшихся им белок как совершенно живых и настоящих. Восприятие формирует именно ошибка предсказания: та информация, которая неожиданно приходит извне и не совпадает с нашими внутренними ожиданиями. Мозг понимает, что имеет дело с объективным миром, а не варится в собственном соку, только по одному-единственному признаку — по тому, что мир постоянно его одёргивает и поправляет.

Реальность — это и есть источник поправок. Там, где этих поправок нет, где всё без остатка сходится с нашими ожиданиями, мозг полностью перестаёт отличать внешнее от внутреннего. Ведь отличить одно от другого можно только в момент их столкновения и несовпадения.

Теперь перейдём ко второй половине современной картины мира, и она выглядит куда тревожнее. Мы построили ту самую пещеру Платона. Причем не в переносном смысле, а буквально. Существует шлем виртуальной реальности, надев который человек видит перед собой обрыв, и у него физически подгибаются колени от страха, хотя он твёрдо стоит на полу посреди безопасной комнаты. Существуют сгенерированные нейросетями видео, где реальные люди произносят то, чего никогда не говорили, и эти подделки визуально неотличимы от правды. Есть алгоритмическая лента новостей, которая показывает каждому пользователю мир, идеально подобранный под то, во что он уже и так верит. В этом уютном информационном пузыре, прямо как на стене платоновской пещеры, все тени логично согласуются между собой, и можно годами состязаться в том, кто точнее угадает форму следующей тени. За алгоритмической ширмой ходят конкретные люди с предметами в руках, и мы даже знаем имена владельцев этих корпораций.

И, наконец, существует аргумент, который в 2003 году философ Ник Бостром сформулировал в строгой логической форме: если цивилизации в принципе способны когда-нибудь достичь уровня, позволяющего создавать симуляции сознательных существ, и если они решают это делать, то симулированных умов в итоге окажется в миллиарды раз больше, чем биологических оригиналов. А значит, чисто статистически, для любого случайно выбранного разума — включая ваш собственный — вероятность оказаться внутри симуляции несопоставимо выше,

чем вероятность быть обитателем базовой реальности. Этот аргумент не доказывает на сто процентов, что мы живём в матрице. Он лишь вероятностно показывает, что истинным должно быть одно из трёх утверждений: либо цивилизации вообще не доживают до создания таких технологий, либо доживают, но по каким-то причинам отказываются ими пользоваться, либо мы с вами, скорее всего, уже находимся внутри искусственной симуляции.

Если Декарт со своим гипотетическим злым демоном-обманщиком предлагал нам просто изящное мысленное упражнение, то Бостром вывел жёсткую вероятностную оценку, и отмахнуться от неё так же легко, как от декартовских сомнений, уже не получается.

И тем не менее я хочу подчеркнуть: все эти высокотехнологичные новшества, при всей их пугающей мощи, не опровергают ни одного из упомянутых нами пяти философов. И вот почему. Гипотеза симуляции, как и злой дух Декарта, как и «мозг в колбе» Хилари Патнэма, как и концепция иллюзорного сна, устроена по одному и тому же принципу: они предлагают нам мир, который по всем своим физическим и логическим параметрам абсолютно неотличим от того, что мы привыкли называть реальным. В этой абсолютной неотличимости кроется их сила как философских аргументов, но в ней же заключается их полное бессилие во всём остальном. Если матрица сопротивляется удару ботинка в точности так же, как настоящий камень; если внутри симуляции нерушимо действуют законы причинно-следственной связи; если в ней по-настоящему умирают и больше не возвращаются; если в ней другой мыслящий субъект может сказать вам твёрдое «нет» и не изменить своего решения — то что конкретно мы имеем в виду, когда заявляем, что эта реальность не настоящая?

По сути, мы лишь утверждаем, что за фасадом этого мира скрывается некая изнанка, о которой мы в принципе не можем знать ничего. А это в точности возвращает нас к кантовской «вещи в себе». Кант сказал о ней всё, что вообще имело смысл говорить: она является непреодолимой границей нашего познания, и её наличие ровным счётом ничего не меняет в том, как явления объективно сцеплены между собой внутри нашего опыта. Органы чувств Демокрита могли бы обратиться к современному Нику Бострому с тем же справедливым упреком, с которым они обращались к разуму античных скептиков: откуда ты взял все свои умные послышки о компьютерных симуляциях, если не из наблюдений за этим самым миром? Мир, который проходит все мыслимые проверки на подлинность и ничем не выдаёт своей искусственности, является реальным в единственном смысле, в каком слово «реальный» вообще несёт хоть какое-то практическое содержание. Гипотеза симуляции не отнимает у нас реальность. Она лишь заставляет нас строже уточнить, чего именно мы требуем, когда просим доказать подлинность мира.

Однако одно из современных новшеств бьёт в обход философии прямо по самой человеческой природе, и здесь никакой Иммануил Кант нас уже не защитит. В 1974 году американский философ Роберт Нозик предложил мысленный эксперимент, который по своей значимости встаёт в один ряд с мифом о платоновской пещере. Представьте себе машину личного опыта, способную генерировать любые желаемые переживания. Вы ложитесь в специальный резервуар, к вашему мозгу подключают электроды, и вы начинаете жить идеальной жизнью: вам кажется, что вы пишете великий роман, что вы искренне любите и любимы в ответ, что вы покоряете горные вершины. При этом, находясь внутри, вы забудете о том, что подключены к аппарату. Все события будут переживаться как абсолютно настоящие, и даже лучше настоящих, потому что алгоритм заранее подстроит их под ваши сокровенные желания. Согласились бы вы подключиться к такой машине навсегда?

Подавляющее большинство людей, которым задают этот вопрос, уверенно отвечают «нет». Нозик спрашивает: почему? И сам же предлагает три ответа, которые кажутся мне безусловно верными. Во-первых, мы хотим реально совершать поступки, а не просто испытывать иллюзию того, что мы их совершаем. Во-вторых, мы хотим быть кем-то определённым, обладать личностью, а плавая в резервуаре, мы превращаемся в ничто, в пассивный сгусток плоти.

И в-третьих, мы испытываем глубинную потребность соприкоснуться с чем-то, что больше и сложнее нас самих, — с реальностью, которую сочинили не мы.

Машина Нозика — это та же изолированная камера Хебба, только предельно комфортная. Она даёт человеку всё мыслимое блаженство, лишая его лишь одного: внешнего сопротивления. Мы отказываемся от этой машины не потому, что она нас обманывает [ведь перед погружением она честно предупреждает об иллюзии], а потому, что внутри неё нам больше нечему сопротивляться. И мы интуитивно, смутно понимаем, что без этого трения о реальность мы сами попросту исчезнем. Роберт Нозик задавал свой провидческий вопрос в те времена, когда ничего подобного не существовало даже в проекте. Сегодня же эта машина уже создана и собирается по частям. Она продаётся по платной подписке, встраивается в экраны смартфонов, и люди ложатся в неё не на всю жизнь сразу, а порционно — на четыре-шесть часов каждый день, даже не замечая, как быстро тикает счётчик их реального времени.

Стена

Теперь я назову то, к чему вели все пятеро, о ком шла речь выше, и признаюсь сразу: не я первый это увидел.

Реально то, что сопротивляется. Точнее: реально то, что не подчиняется моему желанию. Фантазия послушна — я могу повернуть её как угодно, и она повернётся; реальность — нет. Это первый и самый явный признак, по которому изнутри восприятия — а другого места у нас нет, Беркли в этом прав — можно отличить мир от себя: мир возражает. Он не даёт того, чего я хочу, и даёт то, чего я не хочу; стоит на месте, когда я толкаю, и падает, когда я пытаюсь удержать. Знаменитый камень, который Сэмюэл Джонсон пнул, опровергая Беркли, реален не потому, что твёрд, — твёрдость, как мы уже видели, тоже конструкция, — а потому, что не подался. Другой человек реален не потому, что я его вижу, а потому, что он может сказать «нет» и не передумать. Законы природы реальны потому, что им совершенно всё равно, что я о них думаю. Последствия поступков реальны потому, что они наступают тогда, когда я уже давно передумал. И смерть — самая реальная из всех вещей, потому что она одна вообще не ведёт со мной переговоров.

У этой мысли долгая родословная, и я назову её, чтобы не присваивать чужого. Фихте называл это толчком — *Anstoß*: «я» обнаруживает не-«я» как то, обо что ударяется его собственная деятельность, как стену, которую нельзя пройти насквозь. Французский философ Мэн де Биран в начале девятнадцатого века нашёл первичный факт сознания не в мысли, как Декарт, а в усилиии, встречающем сопротивление: я знаю себя как волю ровно в той мере, в какой что-то моей воле противится, — и знаю мир как то, что противится. Вильгельм Дильтей в 1890 году опубликовал работу о происхождении нашей веры в реальность внешнего мира и вывел эту веру не из умозаключения, а из живого опыта воли, натолкнувшейся на препятствие: младенец узнаёт, что мир существует, не тогда, когда впервые видит его, а тогда, когда не может его схватить. Американец Чарльз Пирс поставил это в основание своей категории «второго» — грубого, немом столкновения с тем, что существует помимо меня, независимо от моих представлений, — и определил реальное как то, что не зависит ни от чьего мнения о нём. Фрейд назвал принципом реальности способность психики считаться с тем, что не подчиняется желанию, и датировал взросление моментом, когда этот принцип начинает побеждать принцип удовольствия. А писатель-фантаст Филип Дик, автор книг, по которым снята добрая половина фильмов о ложных мирах, сформулировал это в 1978 году короче всех: реальность — это то, что не исчезает, когда ты перестаёшь в него верить.

Есть у этого критерия и литературный памятник, о котором я не могу не сказать, — тем более что он написан по-русски и точнее любого трактата. В «Записках из подполья» герой Достоевского говорит о стене. Стена — это законы природы, выводы естественных наук, дважды два четыре; всё то, обо что бьётся хотение. Люди, говорит он, перед стеной пасуют: «стена, значит, и есть стена». А он не хочет. «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и

арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило». И дальше: «дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти». Это, пожалуй, самый честный крик человека против реальности во всей литературе, и заметьте: даже он не отрицает стены. Он отрицает примирение с нею. Стена стоит, лоб её не пробьёт — и именно в этой невозможности пробить она реальна для него больше, чем что бы то ни было. Подпольный человек — не тот, кто не верит в реальность; он тот, кому она невыносима именно потому, что несомненна. Он видит стену яснее тех, кто пасует. Он просто не согласен, чтобы она была последним словом.

Хайдеггер, философ совсем другого склада, увидел ту же самую вещь, но с обратной стороны. В «Бытии и времени» он замечает, что вещи, которыми мы пользуемся, в самом употреблении исчезают из поля зрения: пока молоток забивает гвоздь, я не вижу молотка — я вижу гвоздь, а молоток стал продолжением руки; точно так же исчезают очки на носу, пол под ногами, язык во рту. И появляются они как отдельные, заметные вещи только тогда, когда ломаются: молоток треснул, очки запотели, пол провалился, нужное слово не нашлось. Вещь становится видна, когда перестаёт слушаться. Мир в своей привычной гладкости прозрачен для нас, как вода для рыбы; он проступает лишь в местах поломки, отказа, сопротивления — и потому человек, у которого ничто не ломается, живёт в мире, который для него почти невидим.

Итак, вот критерий, и вот его родословная. Что в нём моего — это то, что следует из него дальше, и я думаю, что следует из него больше, чем замечали мои предшественники.

Первое: зазор между мной и миром — это и есть сопротивление. Мир отделён от меня не расстоянием, а непослушанием. Если бы всё подчинялось моему желанию, мира не было бы вовсе — было бы одно бесконечное «я», ничем не ограниченное и оттого лишённое всяких очертаний, как тот студент в камере Хебба, у которого от долгой сенсорной изоляции голова «отделилась» и повисла в стороне. Границу «я» проводит то, что мне не подчиняется; я кончаюсь там, где начинается «нет». И потому непослушность мира — не беда, с которой приходится мириться, и не изъян творения, а само условие того, что я вообще существую как нечто отдельное. Кант доказывал, что внутренний опыт невозможен без внешнего; я скажу проще: чтобы быть кем-то, нужно, чтобы что-то было не мной, а единственное, что достоверно не мной, — это то, что не подчиняется моей воле.

Второе: у реальности есть степени, и измеряются они в первую очередь сопротивлением. Здесь Спиноза с его учением о степенях совершенства встречается с Платоном и его иерархией бытия. Сон менее реален, чем явь, не потому, что он туманнее, — иные сны отчётливее дневной действительности, — а потому, что он послушен: в нём можно летать, стены расступаются, умершие возвращаются; он не поправляет тебя, не перечит. Фантазия послушна и вовсе безоговорочно. Но это — обычный случай; бывает сон, который не отпускает, и фантазия, которая не слушается: кошмар и навязчивая мысль сопротивляются воле так же остро, как камень. И здесь выясняется, что одного сопротивления мало — оно не отличает мир от внутреннего бедствия, и нужны дополнительные проверки: устойчивость, связность с остальным опытом, подтверждение другими.

Слуховой образ сопротивляется лишь чуть-чуть — его можно заглушить, повернуть, но не вполне. Изображение на экране сопротивляется меньше, чем физический предмет, потому что его можно выключить, перемотать, заменить другим; лента новостей подобрана так, чтобы сопротивляться как можно меньше, — в этом её внутренняя экономика. Вещь сопротивляется ощутимо больше: её нельзя выключить, она весит и занимает место. Другой человек сопротивляется ещё сильнее: у него есть собственная воля, и она не моя.

А на вершине шкалы — то, что не подчиняется вообще ничьей воле: смерть, необратимость сделанного, неумолимый ход времени. Это самые реальные вещи из всех существую-

щих — и, что показательно, самые неприятные; Платонов подъём из пещеры болезнен именно потому, что ведёт вверх по этой шкале, к тому, что сопротивляется сильнее всего.

Третье — и это уже не про мир, а про человека, и ради этого, собственно, написана вся глава. Если реальность измеряется сопротивлением, то чем меньше в жизни сопротивления, тем меньше в ней реальности — и это не метафора, а буквально, по определению. И поскольку человек — в отличие от спинозовского камня, который, будь у него сознание, приписал бы свой полёт собственной свободной воле, — есть не готовая вещь, а то, что формируется в столкновении, — чем меньше в его жизни реальности, тем меньше в ней и самого человека.

Посмотрите, из чего состоит современный комфорт, — не с моральной стороны, а именно с этой, с определительной. Еда приезжает по нажатию кнопки, и рука не встречает ни земли, ни очереди, ни отказа. Ответ на любой вопрос приходит за секунду, и ум не встречает незнания, которое сопротивлялось бы дольше этой секунды. Температура в комнате не меняется. Дорога не имеет неровностей. Несогласный собеседник убирается одним движением пальца, и вокруг остаются лишь те, кто согласен, — а согласный собеседник, по нашему критерию, менее реален, чем несогласный, потому что меньше сопротивляется. Лента подбирает именно то, что не вызовет сопротивления мысли, и потому мир в ленте — это стена пещеры: тени согласованы, предсказуемы и не дают сдачи. Виртуальная среда обещает, что в ней не будет ничего, чего вы не хотите. А искусственный собеседник — всегда готовый, всегда терпеливый, никогда не обижающийся, всегда находящий, что сказать, — это машина опыта Роберта Нозика, переложённая в форму диалога: разговор, в котором другой не сопротивляется, потому что другого попросту нет.

Каждая из этих вещей по отдельности — всего лишь удобство, и я не собираюсь проповедовать против удобств, как не проповедовал против слов в третьей главе. Но их совокупность — это камера с манжетами и затемнёнными очками, устроенная не в лаборатории, а в самой жизни, и не на трое суток, а на десятилетия; и происходит в ней с человеком то же самое, что происходило со студентами Хебба, только медленнее и незаметнее для него самого. Мышление рассыпается, не находя, обо что опереться. Появляются видения, которые невозможно отличить от действительно увиденного, — и мы называем их «моя правда», «моя реальность», не замечая, что реальность по определению не бывает «моей»: моё — это как раз то, что подчиняется. Тело расщепляется, перестаёт ощущаться единым целым. И когда такой человек выходит из своей уютной камеры в мир, где вещи весят, люди не соглашаются, а последствия наступают независимо от намерений, — стены начинают дышать, пол наклоняется, и первое его желание — вернуться туда, где не больно.

Я хочу быть понятым точно: дело не в том, что комфорт безнравствен, и не в том, что страдание облагораживает, — об этом будет отдельный и трезвый разговор в главе о страдании, где выяснится, что оно, вообще говоря, не облагораживает. Дело в определении. Человек есть то, что имеет очертания, а очертания даёт сопротивление; убирая сопротивление, вы не освобождаете человека — вы размываете его. Тот, кто никогда не слышал «нет», не знает, где он кончается; тот, кто никогда не бился над задачей, не знает, на что способен; тот, чей мир состоит из одних согласных, не знает, что думает он сам, потому что мысль, как мы видели в четвёртой главе, находит свои ошибки только в чужом возражении. Реальность — не роскошь и не испытание. Реальность — среда, в которой возможен человек, как вода — среда, в которой возможна рыба; и рыба в аквариуме, где воду заменили на что-нибудь более удобное, не становится от этого свободнее.

Отсюда и две беды, связанные с этим зазором, которые я, как всегда, назову прямо, потому что они зеркальны и обе у нас перед глазами. Схлопнуть зазор между собой и миром — значит принять мир за продолжение себя: жить так, будто он обязан подчиняться, и, когда он не подчиняется, не признавать этого, а объявлять его неправым, злым, несправедливым, «токсичным» — и уходить туда, где подчиняется. Это позиция человека в камере Хебба, кото-

рый просит не выпускать его наружу, и одновременно позиция подпольного человека, который знает, что стена реальна, и всё равно бьётся о неё лбом: обе исходят из одного — из убеждения, что моё хотение есть последняя инстанция, а мир лишь помеха ему.

Разорвать зазор — значит, наоборот, объявить мир настолько чужим и далёким, что до него не дотянуться: он либо «всё равно симуляция», либо «всё равно непознаваем», либо «всё равно ничего не изменишь» — и все три вывода снимают с человека обязанность считаться с сопротивлением, потому что зачем считаться с тем, чего то ли нет, то ли не достать. Это Кантова вещь в себе, превращённая циником в удобное алиби; это Беркли, обращённый в оправдание жизни как мечты. Между этими двумя бедами — узкий перешеек, где стоит человек, признающий стену стеной, не желающий признать её началом смерти и знающий, что она — начало его самого: именно там, где мир сказал «нет», я впервые узнал, что я есть и где я есть.

Самое сильное возражение

Я слышу его, и бьёт оно не в одно место, а сразу в четыре.

«Начнём с очевидного, — говорит критик. — Кошмар сопротивляется. В страшном сне я хочу проснуться — и не могу, хочу убежать — и ноги не слушаются; и это сопротивление ощущается острее, чем любое дневное. Голоса шизофреника не подчиняются ему: он умоляет их замолчать, они не молчат. Навязчивая мысль сопротивляется воле сильнее всякого камня. По вашему критерию всё это — высшая реальность, и вы, выходит, только что назвали психоз самым реальным из состояний.

Второе: Беркли вами не побеждён, а всего лишь обойдён. Сопротивление — тоже ощущение; вы не вышли за пределы восприятия, вы просто выбрали среди восприятий одно и назвали его пропуском во внешний мир, ничем, по сути, этого выбора не обосновав. Третье: физика говорит вам, что сопротивление камня — не какая-то "вещь", а электромагнитное отталкивание оболочек атомов, то есть такая же конструкция, как цвет; на чём же вы тогда стоите? И четвёртое, самое неприятное для вас лично: под всей вашей философией отчётливо слышен голос человека, который никогда по-настоящему не голодал. Реальность-как-сопротивление — это романтика сытого. У бедняка сопротивления в жизни столько, что оно его расплющивает; у больного мир сопротивляется каждый день, и никакой "человек" от этого в нём не растёт, а только истощается. Вы взяли мазохистскую эстетику трудности, выдали её за онтологию и сделали из неё упрёк всем, кто хочет просто жить без боли».

Отвечу по порядку, а на последнем остановлюсь дольше, потому что там критик прав больше, чем ему самому кажется.

О кошмаре и голосах. Критерий не говорит: «реально то, что сопротивляется вот сейчас, в этот самый миг». Он говорит: реально то, что не подчиняется желанию, — а подчинение или неподчинение проверяется не одним толчком, а всей связной работой опыта, о которой говорил Кант. Кошмар сопротивляется остро, но не устойчиво: он не возвращается тем же, не стыкуется с тем, что было вчера, и не выдерживает пробуждения; он послушен не мне, а сну, и потому, проснувшись, я знаю, что это был именно он, а не мир, — знаю ровно по тому признаку, что он рассыпался, а мир — нет. Голоса не подчиняются больному — но они не подчиняются и никому другому в том простом смысле, что никто другой их попросту не слышит; а сопротивление, которое я имею в виду, — это сопротивление, общее для всех, кто подошёл к той же стене.

Пирс называл реальным то, к чему сойдутся в конце концов все исследующие, и в этом схождении — половина критерия. Голос реален как состояние больного — Спиноза сказал бы, что он реален настолько, насколько имеет силу, а силу он имеет страшную; но он не реален как то, о чём говорит, — как чужая речь извне, — потому что извне его нет ни для кого.

Навязчивая мысль — ровно то же самое: она сопротивляется воле, и в этом она реальнейший факт обо мне самом; но сопротивляется она не так, как мир, потому что о мире она говорит неправду, которую мир поправляет всякий раз, когда я решаюсь проверить её делом.

Так что критерий не называет психоз высшей реальностью. Он говорит, что психоз реален как страдание и не реален как картина, — и различает эти две вещи по тому признаку, что картина не выдерживает сопоставления со всем остальным опытом, а страдание выдерживает. Именно это различие и лечит. Замечу ещё, что камера Хебба как раз и показала, откуда берутся «голоса»: оттуда, где мир перестал поправлять нас. Это не опровержение критерия, а его подтверждение с изнанки.

О Беркли. Да, сопротивление — тоже ощущение, и я не выходил за пределы восприятия; я этого и не обещал, а Демокрит ещё объяснил, почему выйти нельзя. Но я не выбрал среди ощущений одно произвольно. Я выбрал то единственное, которое отличает восприятие от воображения изнутри самого восприятия, — то, по которому и сам мозг, как мы теперь знаем из нейронауки, решает, имеет ли он дело с собой или с не-собой. Беркли сказал бы, что упорядоченность ощущений держит Бог. Я же говорю, что мне не нужно решать, кто её держит, чтобы заметить, что она есть и что она не моя, — и это «не моя» и есть всё, что я утверждаю словом «реально». Спрашивать, что стоит за этим ещё, — значит спрашивать о вещи самой по себе, а на этот вопрос Кант ответил окончательно: граница. Критерий сопротивления не доказывает материю; он доказывает, что есть нечто, чему я не хозяин, и что это нечто — не предположение, а самое несомненное из всего мне данного, потому что всё остальное я мог бы придумать, а это — нет.

О физике. Разумеется, сопротивление камня — не «твёрдость» в наивном смысле, а взаимодействие полей; и что? Критерий никогда не говорил, из чего сделано сопротивление, — он говорил только, что оно есть. Нога Джонсона отскочила бы одинаково, будь причиной непригодность сплошного вещества или отталкивание электронных оболочек; физика заменила описание причины, не тронув самого факта. Более того, физика — лучшее свидетельство в пользу критерия, какое вообще можно вообразить: вся её история — это история того, как мир поправлял наши ожидания, и каждое великое открытие было ошибкой предсказания, которую отказались списать на неисправный прибор. Мир, который не сопротивлялся бы теориям, никогда не породил бы физики: в нём любая теория подтверждалась бы, как теория Адлера из второй главы, и потому ни одна ничего бы не значила.

И теперь — о сытости. Здесь я должен сначала отделить то, что я действительно говорил, от того, что критик слышал, а потом честно признать остаток.

Я не говорил, что сопротивление — это боль, и не говорил, что чем больше сопротивления, тем лучше. Сопротивление — это инаковость: то, что мир — не мой. Мрамор сопротивляется резцу, и в этом нет никакого страдания, в этом есть работа; любимый человек сопротивляется моим ожиданиям, и это не мучение, а само его присутствие как другого; задача сопротивляется уму, и это радость, а не беда. Боль — лишь один из видов сопротивления, самый грубый, тот, что остаётся, когда более тонкие виды не были услышаны. И у сопротивления, как у всего, о чём шла речь в предыдущей главе, есть мера: слишком мало — и человек размывается, как в камере Хебба; слишком много — и он расплющивается, как под прессом, и вторая крайность ничуть не лучше первой.

Йеркс и Додсон нашли эту колоколообразную кривую на мышах — зависимость успеха от уровня возбуждения, — но она относится и сюда: реальность формирует человека, когда её ровно столько, сколько он способен встретить, — отбить, обработать, понять, — и разрушает, когда её больше, чем возможно встретить, и она становится уже не опорой, на которой растут, а тяжестью, под которой гнутся. Бедняк не имеет «больше реальности», чем я; он имеет больше принуждения, а принуждение — это как раз сопротивление сверх меры, лишённое того зазора, в котором можно было бы ответить. Именно это и делает его положение несправедливым: у него отнят не комфорт, а сама возможность встретить мир, не будучи им раздавленным. Так что критерий не упрекает того, кто хочет жить без боли, и не хвалит того, у кого её с избытком. Он говорит одно: то, в чём вообще нет сопротивления, — не мир. А человек, попавший туда,

теряет очертания. Хотеть меньше боли — разумно. Хотеть, чтобы ничто уже не возражало, — значит хотеть той самой камеры в Монреале, и рано или поздно получить её.

А остаток вот какой. Критик прав в том, что о реальности как сопротивлении удобнее всего думать из положения, где сопротивление дозировано и его можно встречать, а не только терпеть. Философ, пишущий о ценности стены, обычно сидит по её тёплую сторону. И самое честное, что я могу здесь сделать, — не отмахнуться от этого замечания, а положить его в основание следующих глав: если реальность необходима человеку, а её избыток его ломает, то как распределена в мире сама способность встречать сопротивление, а не только терпеть его? Это уже вопрос о справедливости — и в третьей части он встанет в полный рост.

Здесь же я могу сказать только одно: критерий не выбирает стороны. Он одинаково описывает и того, кто утонул в гладкости, и того, кого раздавила стена, — и говорит об обоих одно и то же: ни у того, ни у другого нет зазора, в котором можно быть человеком.

Что уносить с собой

Вопрос «не сон ли всё это?» нельзя закрыть раз и навсегда строгим доказательством — Кант назвал это скандалом философии, имея в виду, что за всю её историю никто так и не сумел неопровержимо доказать существование внешнего мира, и скандал этот до сих пор не разрешён. Но его можно поставить на место, и место это скромнее, чем кажется. Мир, неотличимый от настоящего во всех мыслимых проверках, и есть настоящий в единственном смысле, какой у этого слова вообще может быть: «настоящее» — не какое-то тайное свойство, прячущееся за пределами всех опытов, а именно то, что выдерживает любой опыт. Всё, что якобы стоит «за ним», — кантовская граница, о которой знать нечего и которая ничего не меняет в том, как сцеплены вещи по эту сторону.

Поэтому настоящий вопрос — не «есть ли мир», а «по чему я его узнаю», и ответ на него дают и философы, и физиология: по тому, что он меня поправляет. Первый признак реального — оно не подчиняется моему желанию: не проминается под ногой, не соглашается с моими доводами и не оправдывает моих ожиданий. Но одного сопротивления мало: кошмар и навязчивая мысль тоже могут не подчиняться мне, не становясь от этого внешним миром — мы уже видели это, отвечая на критику. Поэтому к сопротивлению добавляются три проверки — те самые, которыми мы уже пользовались, отвечая критику: устойчивость — мир на следующий день возражает тому же, чему возражал вчера, а кошмар рассыпается при пробуждении; связь с остальным опытом — мир стыкуется с тем, что было, а навязчивая мысль ломает факты настоящего; и независимое подтверждение другими — мир возражает не только мне, но и всем, кто подходит к той же стене. Реальное не обязано быть неуправляемым: я могу повернуть чашу, но не могу повернуть её так, чтобы она прошла сквозь стол. Важно не отсутствие какого-либо контроля, а способность вещи сказать мне «нет» там, где мой прогноз оказался неверным.

Из этого следует несколько вещей, которые стоит унести с собой. Во-первых, мир отделён от меня не расстоянием, а непослушанием: я кончаюсь ровно там, где начинается чужое «нет». Во-вторых, у реальности есть степени, и измеряются они в первую очередь сопротивлением — от послушного сна, в котором стены расступаются по первому желанию, до неумолимой смерти, которая не ведёт переговоров ни с кем. В-третьих, человек, поскольку он не готовая вещь, а то, что формируется в столкновении, имеет в себе ровно столько человека, сколько реальности он встретил и сумел встретить, — не меньше, но и не больше. Убрать из его жизни сопротивление — не значит освободить его; значит размыть его очертания. Камера Хебба — не лабораторный курьёз, а точное описание образа жизни, доступного сегодня по подписке, и то, что происходило в ней за трое суток, в жизни происходит за годы и десятилетия и называется другими, более приятными словами.

Держать зазор между собой и миром — значит не требовать, чтобы мир был продолжением меня, и в то же время не объявлять его настолько чужим и далёким, чтобы с ним можно было уже не считаться. Значит — признавать стену стеной и при этом знать, что стена эта не

начало смерти, как казалось подпольному человеку, а начало меня самого: то самое место, где я впервые ударился и узнал, что я есть, и где я есть, и что есть ещё что-то, помимо меня. Что это «что-то» на самом деле такое — вещь, другой человек, время, смерть, — об этом речь пойдёт в следующих главах. Но прежде надо задать вопрос о том, кто, собственно, ударился. Мы всё это время говорили «я» так, будто заранее знаем, кто за этим словом стоит. Пора проверить, не тень ли и он сам.

Лаборатория: день сопротивления

Один день — самый обычный, рабочий, не выходной — проживите, удерживая в уме одну-единственную задачу: замечайте, где мир говорит вам «нет».

Причём не только крупное — особенно мелкое. Дверь, которая открывается не в ту сторону. Очередь. Ответ, оказавшийся не таким, как вы ждали. Задача, не поддавшаяся с первого захода. Человек, не согласившийся с вами. Погода, спутавшая планы. Тело, которое устало раньше, чем вы рассчитывали. Слово, которое не нашлось. Устройство, зависшее в самый неподходящий момент. Всё, что не подчинилось вашему желанию, — от дорожной пробки до чужого мнения, — отмечайте в течение дня, по возможности записывая одной строкой: что именно сопротивлялось.

Рядом с каждой такой строкой напишите вторую: что вы сделали в ту же самую секунду. Не то, что вы подумали потом, а самое первое, почти автоматическое движение. Таких первых движений, как правило, четыре, и стоит научиться узнавать среди них своё. Можно обойти — уйти туда, где не сопротивляется: закрыть вкладку, сменить собеседника, отложить решение, найти более послушный вариант. Можно надавить — повторить то же самое усилие, только сильнее, наподобие подпольного человека, бьющегося лбом о стену. Можно обвинить — объявить то, что сопротивляется, неправым, глупым, сломанным, враждебным и тем самым превратить его из части реального мира в досадную помеху, с которой не нужно считаться, а которую нужно поскорее устранить. И, наконец, можно посмотреть — хотя бы на секунду остановиться на том, что именно сопротивляется и почему, как повар Дин медлит перед трудным сочением, — и тогда иногда оказывается, что мир вовсе не мешал вам, а что-то сообщал.

К вечеру перед вами будет лист, и на нём обнаружатся две вещи, которых вы, скорее всего, не замечали. Первая — сколько в вашем дне было сопротивления и как много из него вы пропустили, потому что автоматически обошли; посчитайте, сколько раз в списке стоит «обошёл», и подумайте, что каждое из этих мест — точка, где мир пытался стать для вас видимым, а вы предпочли оставить его прозрачным. Вторая — какое из четырёх движений оказалось у вас главным, самым частым. Это и есть ваш настоящий способ обращаться с реальностью — не тот, который вы себе приписываете, а тот, что проступает из списка.

И под конец — один вопрос про обратное. Спросите себя, где в этом дне было меньше всего сопротивления: в какие часы всё поддавалось, соглашалось, шло гладко, ничего не возмущало. Вспомните, что вы делали в эти часы. Затем спросите себя честно: были ли вы там по-настоящему? Вопрос не в том, приятно ли вам было, — а в том, присутствовали ли вы: с отчётливыми очертаниями, с собственными решениями, с ощущением, что всё это происходит с кем-то конкретным, а не просто течёт мимо.

У большинства людей часы наименьшего сопротивления оказываются часами, о которых почти нечего вспомнить, — и это не совпадение, а прямое следствие того самого определения, с которым мы работали: там, где ничто не сопротивлялось, некому было быть.

Глава 7. Кто такой «я»?

Дневник, в котором одна запись

В марте 1985 года лондонский музыковед и дирижёр Клайв Уэринг — специалист по ренессансной музыке, руководивший хором, который пел на свадьбе принца Чарльза, — заболел тем, что поначалу приняли за обычный грипп. Это оказался герпетический энцефалит: вирус, который у большинства людей вызывает безобидную простуду на губе, прорвался в мозг и за несколько дней выжег гиппокамп — ту область, без которой мозг не способен превращать настоящее в прошлое, — и значительную часть височных долей. Клайв выжил. Но с ним произошло то, что врачи до сих пор называют самым тяжёлым случаем амнезии во всей медицинской литературе: его память стала удерживать настоящее от семи до тридцати секунд. Не только новое не запоминалось — старое тоже почти полностью стёрлось. Он знал, что у него есть дети, но не мог назвать их имён; узнавал жену — и не помнил свадьбы. Всё, что было до болезни, лежало в густом тумане; всё, что происходило после, исчезало, не успев уложиться в долговременную память.

Жена, Дебора, дала ему дневник, надеясь, что записи заменят ему память. Дневник быстро заполнился, и это, возможно, самый страшный документ о человеческом сознании из всех существующих. «8:31. Сейчас я по-настоящему проснулся». Строка зачёркнута. «9:06. Сейчас я совершенно, по-настоящему проснулся». Зачёркнута. «9:34. Теперь я наконец безусловно проснулся». Зачёркнута. Сотни страниц одной и той же записи, и каждая следующая зачёркивает предыдущие, потому что, дописывая новую, он смотрел на старые с искренним недоумением: он не писал этого, он только что пришёл в себя — впервые в жизни. Каждые несколько минут Клайв Уэринг просыпался в мир, в котором, как ему казалось, не был никогда, и каждый раз это было его первое пробуждение, и каждый раз он с яростью спрашивал, где он был всё это время и почему никто не объяснил ему, что произошло.

Когда Дебора входит в палату — а она входит туда уже почти сорок лет, — он бросается ей навстречу с восторгом человека, не видевшего жену долгие годы: обнимает, кружит, плачет от радости. Она выходит на пять минут за водой — и возвращается к тому же восторгу, к той же встрече после долгой разлуки, потому что разлука для него была бесконечной: он не помнит, что она только что была здесь. Оливер Сакс, навещавший его, писал, что видел, как Клайв, оставшись один в комнате, не мог сказать, где он находится и зачем, — а потом его подвели к органу, и он сыграл прелюдию Баха без единой ошибки; в другой раз он дирижировал хором, точно показывая вступления, и сделал в конце выразительный жест, снимающий последний аккорд, — а спустя минуту уже не помнил, что играл, и снова спрашивал, где он.

Вот вопрос этой главы, поставленный не философом, а болезнью. Кто это? Джон Локк, о котором подробно пойдёт речь ниже, сказал бы, что личность есть память: я — тот же самый человек, кем был вчера, потому что помню вчерашнего себя. У Клайва нет вчерашнего себя — у него нет даже себя получасовой давности. По Локку, в палате, строго говоря, никого нет — есть тело, в котором каждые тридцать секунд возникает и тут же исчезает некто, не связанный ни с предыдущим, ни со следующим. Но что-то бросается к Деборе. Что-то садится за орган и знает, куда ставить пальцы. Что-то — и Дебора настаивает на этом, и я склонен верить ей больше, чем Локку, — узнаёт в ней не абстрактный факт из биографии, а родного человека: не «это женщина, с которой я, кажется, женат», а «ты», сказанное так, как говорят одному-единственному человеку на свете. Память сгорела. Кто-то остался. Если «я» — не память, то что?

Прошлую главу я закончил вопросом: мы всё время говорили «я» так, будто заранее знаем, кто за этим словом стоит; не тень ли и он сам. Эта глава — о том, что при ближайшем рассмотрении «я» и вправду оказывается не тем, чем кажется на первый взгляд: что внутри,

куда ни загляни, нет никакой отдельной вещи с таким именем, — и о том, что из этого следует совсем не то, что обычно думают.

Колесница

Первым внутрь заглянул человек, живший за две с половиной тысячи лет до Клайва Уэринга и за две тысячи до Локка, — и вернулся с ответом, который до сих пор кажется большинству людей либо очевидной ошибкой, либо невыносимой правдой.

Будда учил, что того, что мы привыкли называть «я», не существует, — не в том смысле, что нет живого человека, а в том, что нет никакого постоянного, неизменного, самотождественного ядра, которое и было бы этим человеком. Есть пять непрерывных потоков, которые он назвал скандхами — буквально «грудами», «скопищами»: тело, ощущения, восприятия, волевые побуждения и сознание. Каждый из них меняется каждое мгновение; ни один не остаётся тем же от вдоха к выдоху. И среди них, как ни ищи, нет шестого — того, кто всем этим владеет. Мы говорим «моё тело», «мои мысли», «мои желания» — и автоматически предполагаем, что за всем этим стоит некий «я», которому всё перечисленное принадлежит, как хозяину, у которого есть дом, лошадь и поле. Загляните внутрь, говорит Будда, и попробуйте найти хозяина отдельно от его имущества. Вы найдёте только имущество.

Через два века после Будды греко-бактрийский царь Менандр, правивший на землях нынешнего Афганистана, вёл долгие беседы с буддийским монахом Нагасеной, и одна из этих бесед дошла до нас в книге, известной как «Вопросы Милинды». Царь спрашивает монаха, как его зовут. Тот отвечает: Нагасена, — но тут же добавляет, что это лишь удобное имя, условное обозначение, и что никакого Нагасены как отдельной сущности, стоящей за этим именем, обнаружить невозможно. Царь возмущён: если Нагасены нет, то кто получает милостыню, кто соблюдает монашеские обеты, кто, в конце концов, сидит сейчас передо мной? Он начинает перебирать: волосы — это Нагасена? Нет. Кости? Нет. Ощущения, восприятия, сознание? Нет. Всё это вместе взятое? Нет. Что-то отдельное, помимо всего перечисленного? Нет. Значит, заключает царь, «Нагасена» — пустое слово. Тогда монах спрашивает царя, на чём тот приехал во дворец. На колеснице. Что такое колесница — ось? Нет. Колёса, кузов, оглобли, ярмо, вожжи? Нет. Всё это вместе? Нет. Что-то отдельное, помимо всех частей? Нет. Значит, говорит Нагасена, царь приехал ни на чём, и слово «колесница» — пустой звук. Царь задумывается — и понимает. Колесница существует — как удобное обозначение для совокупности частей, собранных определённым образом; она реальна как совокупность, но не как некая отдельная сущность, стоящая над частями и помимо них. Точно так же и Нагасена.

Здесь крайне важно понять, чего Будда не говорил, — потому что его учение об отсутствии «я», анатта, понимают неверно чаще, чем что бы то ни было другое во всём его наследии. Однажды к нему пришёл странник Ваччхаготта и спросил напрямик: существует ли «я»? Будда промолчал. Тогда странник спросил с другой стороны: значит, «я» не существует? Будда снова промолчал, и Ваччхаготта ушёл ни с чем. Ученик Ананда спросил потом, почему учитель не дал ответа. Будда объяснил: если бы я сказал, что «я» существует, я поддержал бы тех, кто верит в вечную, неизменную, переселяющуюся душу; если бы сказал, что «я» не существует, — странник решил бы, что раньше у него было «я», а теперь его не стало, и впал бы в ещё большее смятение. Будда отказался от обеих крайностей — и от веры в вечное ядро, и от утверждения полного небытия — и учил тому, что лежит между ними: что «я» — не вещь и не ничто, а процесс, непрерывный поток, в котором каждое мгновение обусловлено предыдущим, и что сам вопрос «есть ли оно» поставлен неправильно, так что любой прямой ответ на него будет ошибкой.

Мы видели у Витгенштейна в третьей главе, что грамматика существительного заставляет нас искать предмет там, где его нет; Будда за две с половиной тысячи лет до Витгенштейна отказался отвечать на вопрос именно потому, что вопрос был задан существительным о том, что существительным не является.

И заметьте, зачем ему всё это было нужно. Не ради отвлечённой метафизики. Будда учил анатте по той же причине, по какой врач учит гигиене: потому что вера в неизменное «я», которое надо защищать, утверждать, обеспечивать и увековечивать, есть источник большей части человеческих страданий. Человек, убеждённый, что внутри него есть нечто твёрдое и незыблемое, за что надо держаться, — держится; и всё, что этому твёрдому хоть сколько-нибудь угрожает, он переживает как угрозу самому своему существованию: критику, старение, чужой успех, даже изменение собственных взглядов. Тот же, кто держаться попросту не за что, — не исчезает и не превращается в пустоту; он лишь перестаёт тратить силы на оборону несуществующей крепости. Учение об отсутствии «я» было учением об освобождении, а не о пустоте.

Театр без сцены

Через две с лишним тысячи лет шотландец, никогда не читавший буддийских текстов, проделал тот же мысленный опыт — заглянул внутрь в поисках «я» — и описал результат с точностью, которой сам потом испугался.

Дэвид Юм в «Трактате о человеческой природе» пишет: «Что касается меня, то, когда я самым интимным образом вникаю в то, что называю своим "я", я всегда наталкиваюсь на то или иное отдельное восприятие — тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или наслаждения. Я никак не могу поймать своё "я" без восприятия и никак не могу подметить ничего, кроме восприятия». Есть философы, замечает он, которые уверяют, будто в каждый момент ясно сознают некое неизменное «я» и совершенно уверены в его простоте и тождестве с самим собой.

Юм признаётся, что не находит в себе ничего подобного: заглянув внутрь, он обнаруживает только пучок восприятий, сменяющих друг друга с непостижимой быстротой, — и ничего, что удерживало бы их вместе. Ум, говорит он, есть нечто вроде театра, в котором появляются, проходят, возвращаются и смешиваются в бесконечном разнообразии всевозможные восприятия. Но — и здесь он делает оговорку, которую цитируют гораздо реже, чем саму метафору, — «сравнение с театром не должно вводить нас в заблуждение. Дух состоит из одних только следующих друг за другом восприятий; и у нас нет ни малейшего представления о том месте, где разыгрываются эти сцены, или о материале, из которого оно сделано». Театр без сцены. Спектакль без здания. Только непрерывная смена картин — и никакого зрителя, который смотрел бы их из зала.

Что же тогда заставляет нас верить в собственное тождество — в то, что я сегодня тот же самый, кем был вчера? Юм отвечает: воображение. Восприятия похожи одно на другое, следуют одно за другим плавно и связаны между собой причинностью, — и ум, скользя по этой гладкой цепи, не замечает переходов и принимает связность за единство, точно так же, как принимают за одну и ту же реку поток, состоящий каждую секунду из совершенно новой воды. Мы сочиняем своё «я» — не лживо, не нарочно, а так же произвольно, как сочиняем «стол» из последовательности мелькающих видов стола, когда проходим мимо. Это удобная, практически необходимая выдумка. Но выдумка.

А потом, в приложении к «Трактату», написанном год спустя, Юм делает то, за что его невозможно не любить. Он пишет, что, перечитав собственный раздел о личном тождестве, «нахожу себя вовлечённым в такой лабиринт, что, должен признаться, не знаю ни как исправить свои прежние взгляды, ни как сделать их согласованными». Он видит две вещи, которые не может соединить. С одной стороны, все восприятия отдельны и различны — каждое существует само по себе и не нуждается ни в каком другом. С другой — ум каким-то образом замечает между ними сходство и причинную связь, а для этого нужно, чтобы кто-то удерживал оба восприятия одновременно и сравнивал их. Но кто?

Если «я» — это и есть поток восприятий, то какое из них оглядывается назад и сравнивает себя с предыдущим? Юм честно говорит: не знаю. Это одно из немногих мест в исто-

рии философии, где мыслитель первого ряда останавливается посреди собственной системы и открыто признаёт дыру, — и дыра эта находится в точности там, где остался Клайв Уэринг: восприятия есть, того, кто их сшивает, не найти, а сшивание почему-то происходит.

Принц и сапожник

За полвека до Юма Джон Локк дал ответ на вопрос, кто сшивает, — и ответ его до сих пор остаётся первым, что приходит в голову большинству людей.

Локк был осторожен и точен. Он различал тождество человека — как живого организма, непрерывно существующего тела — и тождество личности, и настаивал, что второе не сводится к первому. Личность, писал он, есть мыслящее разумное существо, способное рассматривать себя как себя, как одну и ту же мыслящую вещь в разное время и в разных местах, — и делает оно это исключительно посредством сознания. Насколько сознание простирается назад, к прошлым действиям и мыслям, настолько простирается и тождество личности: я — тот же самый, кто вчера читал эту книгу, потому что сознаю себя читавшим её. Не душа, не тело — память.

Представьте, говорит Локк, что душа принца со всем сознанием его княжеской жизни переселилась в тело сапожника, покинутое собственной душой сапожника. Всякий согласится, что перед нами тот же самый принц — хотя и в теле сапожника; и всякий согласится, что для окружающих это по-прежнему сапожник, и никто не поверит ему, если он начнёт называть себя принцем. Личность идёт за сознанием, а не за телом.

Локк добавляет важное уточнение: слово «личность» — по существу судебное; оно относится к тому, что можно вменить, — к поступкам, за которые человек несёт ответственность, к наградам и наказаниям. Человек, совершенно ничего не помнящий о том, что делал в состоянии беспамятства, — не та личность, которая совершала те поступки, и наказывать его за них несправедливо, хотя закон на практике и наказывает, не имея возможности отличить подлинное забвение от притворного. Это глубокое замечание, и мы к нему ещё вернёмся: Локк почувствовал, что вопрос о «я» — это не только вопрос о том, что существует, но и о том, кто отвечает за свои действия, и что второе, возможно, даже важнее первого.

Но теория памяти сломалась почти сразу, и сломал её шотландец Томас Рид одним простым примером, который с тех пор называют «парадоксом храброго офицера». Мальчика выпорол за кражу яблок из соседского сада; став молодым офицером, он взял вражеское знамя в бою и при этом отчётливо помнил ту детскую порку; став старым генералом, он прекрасно помнил взятие знамени, но порку забыл напрочь. По логике Локка, генерал — та же личность, что офицер, потому что помнит его опыт; офицер — та же личность, что мальчик, потому что помнит порку; но генерал — уже не та личность, что мальчик, потому что порку забыл. Получается, что А равно Б и Б равно В, но А не равно В, — а это прямое нарушение закона тождества, одного из главных правил логики.

Тождество, которое не передаётся по цепочке, — не тождество вовсе. Память дырява, избирательна, подвержена искажениям — мы теперь знаем, что она не точная запись, а заново выстраиваемая реконструкция, перезаписываемая при каждом воспоминании, — и строить на ней личность значит строить на песке. Клайв Уэринг — это довод Рида, доведённый до абсолютного предела: цепочка памяти разорвана целиком, а Дебора всё-таки говорит «ты», и Клайв всё-таки бросается ей навстречу.

И всё же у Локка было угадано нечто такое, что переживёт его конкретную теорию. Он искал «я» не в веществе, не в некой душе-субстанции, а в связи — в том, что соединяет вчерашнее с сегодняшним. Он ошибся, назвав эту связь памятью. Но что «я» — это связь, а не вещь, — в этом он был прав раньше всех.

То, что сопровождает

Кант прочёл Юма — он сам говорил, что Юм пробудил его от догматического сна, — и ответил на лабиринт, в котором Юм застрял, ходом, который я считаю одним из самых изящных во всей истории мысли.

Юм искал «я» среди восприятий и не нашёл. Кант говорит: разумеется, не нашёл, — потому что искал не там. «"Я мыслю", — пишет он, — должно иметь возможность сопровождать все мои представления; иначе во мне представлялось бы нечто, что вовсе не могло бы быть мыслимо, а это всё равно что сказать, что представление либо невозможно, либо для меня не существует». Переведу на более понятный язык: всё, что я воспринимаю, воспринимается как моё — пусть я и не думаю об этом каждый раз, но могу подумать в любой момент, и сама эта возможность встроена в структуру любого восприятия. Зелёное, которое я вижу, — не просто зелёное, плавающее само по себе в пустоте; это зелёное, увиденное мной, и оно соединимо с холодом, который я чувствую, и со звуком, который я слышу, в один единый опыт, принадлежащий кому-то.

Это единство — Кант назвал его трансцендентальным единством апперцепции, и пугающее название оттолкнуло от него, думается мне, столько же читателей, сколько привлекло, — не является одним из восприятий и не есть какая-то вещь среди других вещей. Это та самая форма, в которой разрозненные восприятия вообще становятся чьим-то опытом. Юм искал зрителя в театре и не нашёл; Кант говорит: зритель — это не человек, сидящий в кресле; зритель — это то обстоятельство, что все сцены разыгрываются на одной и той же сцене, и без этого не было бы никакого спектакля, а была бы куча несвязанных картинок, ничьих — как у испытуемых Хебба, у которых от сенсорной изоляции голова «отделилась» и повисла в стороне.

Отсюда Кант выводит свою критику так называемых паралогизмов — ошибок, которые совершает разум, когда из этого единства пытается заключить к существованию некой субстанции. Раз «я мыслю» сопровождает все мои представления, рассуждает традиционная метафизика, значит, существует некая простая, неизменная, бессмертная вещь — душа, — которая мыслит. Кант показывает, что это подмена: из того, что все мои представления объединены в одном сознании, вовсе не следует, что существует отдельная вещь, которая их объединяет, — точно так же, как из того, что все точки окружности равноудалены от центра, не следует, что в центре что-то материально лежит.

Единство — это функция, а не предмет. «Я» — не то, что я нахожу внутри опыта, как рыбку в аквариуме; это то, посредством чего опыт вообще становится моим. Оно не содержится в потоке, как рыба в реке; оно — берега, без которых поток не был бы рекой, а разливался бы бесформенной лужей. И Кант честно добавляет, что о самом этом «я», каково оно само по себе, мы не знаем и не можем знать ничего, — мы знаем только его работу.

Вот и ответ Юму: та связь, которой он не мог найти среди восприятий, и не может быть среди них найдена, потому что она — условие их наличия, а не одно из них. Это не означает, что Будда неправ: неизменного, застывшего ядра действительно нет; есть единство, которое каждый миг заново собирает поток в «моё». Но это означает, что вывод «значит, никого нет» — поспешен. Есть кто-то, кому всё это дано. Он просто не вещь.

Официант

До сих пор все спрашивали о «я», глядя назад, — в память, в поток восприятий, в единство уже данного опыта. В двадцатом веке французский философ повернул вопрос лицом вперёд.

Жан-Поль Сартр в 1943 году описал официанта в парижском кафе. Движения его слишком точны, слишком быстры; он подходит к столикам чересчур предупредительно, наклоняется чересчур почтительно, несёт поднос с чересчур подчёркнутой ловкостью. Он играет. Играет официанта — так, как ребёнок играет в то, что он поезд, изо всех сил стараясь слиться с ролью. Он пытается быть официантом так, как чернильница есть чернильница, — целиком, без остатка, по самой своей природе, — и не может, потому что человек не совпадает ни с одним своим определением так, как вещь совпадает со своим. Сартр назвал это дурной верой: попыткой стать вещью, полностью совпасть с ролью, чтобы избавиться от невыносимого факта — что я не есть то, что я есть, и одновременно есть то, чем ещё не являюсь; что между мной и

любым моим определением всегда остаётся зазор, в котором я мог бы быть иным. Официант хочет схлопнуть этот зазор. Не выходит. Человек обречён на то, чтобы не совпадать с собой до конца.

Из этого Сартр вывел формулу, которую с тех пор растиражировали до полной потери смысла, — существование предшествует сущности. У ножа сущность предшествует существованию: ремесленник сначала знает, что такое нож и для чего он нужен, а уже потом его изготавливает. У человека всё наоборот: он сначала появляется на свет, существует, — и только потом определяется своими поступками, выборами, тем, что он сделал из того, что с ним сделали. «Человек есть не что иное, как то, чем он себя делает». Нет никакой заранее заданной человеческой природы, которая сказала бы вам, кто вы; нет «настоящего я», спрятанного где-то внутри и ожидающего, пока его наконец обнаружат. Есть то, что вы сделали, и то, что делаете прямо сейчас, и сумма этого — и есть вы, не больше и не меньше.

Трус не «обладает трусливой природой»; он тот, кто поступал трусливо и может завтра поступить иначе, — и в этом «может» заключено всё. Сартр говорил, что человека определяет его проект — то, к чему он стремится, — и что «я» лежит не позади, не в том, что уже было, а впереди, в том, к чему я иду.

В этом есть жестокость, и в этом же есть освобождение. Жестокость — в том, что не на что сослаться: ни на врождённый характер, ни на тяжёлое детство, ни на непреодолимые обстоятельства; всё это материал, с которым вы работаете, но не оправдание того, что из него получилось. Освобождение — в том, что ни одно из определений, которые вам навязали — родители, школа, ярлык из третьей главы, — не является окончательным, потому что окончательного попросту нет: «я» пишется до самого конца, и пока оно не дописано, оно открыто.

Сартр доводит эту мысль до крайности, с которой я буду спорить в главе о свободе: у него получается, что человек творит себя буквально из ничего, наподобие Бога, — а это, я думаю, неправда, потому что материал сопротивляется, и мы видели в прошлой главе, что сопротивление не помеха, а условие. Но одно Сартр увидел безупречно точно: спрашивать «кто я?» так, будто ответ уже лежит где-то в глубине и его нужно только откопать, — значит спрашивать неправильно. Ответ не лежит. Он делается.

Обещание

Поль Рикёр, французский философ, проживший до 2005 года, свёл все эти разрозненные ответы воедино в книге «Я-сам как другой» и ввёл различение, без которого двигаться дальше просто невозможно.

Слово «тот же самый», говорит он, имеет два совершенно разных смысла, и мы постоянно их смешиваем. Один — тождество как одинаковость: этот стол тот же, что вчера, потому что не изменился; у него те же свойства, тот же материал, то же место в комнате. По-латыни — *idem*. Другой — тождество как самость: я тот же самый, кто дал слово десять лет назад, хотя во мне с тех пор не осталось ни одной прежней клетки, ни одного прежнего убеждения, и половина воспоминаний давно стёрлась. По-латыни — *ipse*. Первое тождество держится на неизменности; второе — на чём-то совсем ином, и Рикёр называет это «поддержанием себя», самостоянием, верностью данному слову. Вся путаница вокруг «я» проистекает из того, что мы спрашиваем о самости словами, годными только для одинаковости. Ищем в человеке то, что не изменилось, — не находим — заключаем, что человека нет. А человек — не то, что не изменилось; человек — тот, кто держится сквозь изменения.

Держится посредством чего? Рикёр даёт два ответа. Первый — рассказ: я — это история, которую я о себе веду, сюжет, связывающий разрозненные события в одну жизнь с началом, поворотами и направлением; и эта история не выдумка, потому что её можно проверить о факты и о рассказы других людей, но и не протокольная запись, потому что одни и те же факты можно связать в сюжет по-разному. Второй ответ глубже, и Рикёр называет его парадигмой самости: обещание. Когда я обещаю, я говорю: что бы ни случилось со мной, как бы я ни

изменился, чего бы ни захотел завтра, — я сделаю это. Обещание — единственный поступок, в котором человек прямо противопоставляет себя собственной изменчивости и заявляет: изменюсь, но не в этом. Это не одинаковость — обещающий прекрасно знает, что будет другим. Это самость в чистом виде: «я» как то, что держит.

Ницше увидел это на полвека раньше, с обычной для него смесью восторга и жестокости. Во втором эссе «К генеалогии морали» он спрашивает: как вывести из стада животное, которое смеет обещать? Ведь для этого нужно то, чего нет ни у одного зверя: нужно, чтобы существо, живущее в потоке сиюминутных побуждений, могло связать себя с будущим — стать предсказуемым для самого себя. Ницше называет это памятью воли: не пассивной памятью о прошлом, а активным нежеланием отпустить однажды сказанное «хочу». Человек, у которого она есть, — Ницше называет его суверенным индивидом — носит в себе сознание собственной силы и свободы, и это сознание он зовёт своей совестью. У Ницше это не мораль, а мощь: право обещать — привилегия того, кто достаточно крепок, чтобы отвечать за себя во времени. Но заметьте, что он описал ровно то же, что Рикёр: «я» появляется там, где существо становится способным связать себя сквозь время.

И есть ещё один голос, который здесь необходим, потому что он предупреждает об ошибке, которую с обещанием очень легко сделать. Габриэль Марсель, современник Сартра и его философский противник, писал о том, что назвал творческой верностью. Есть верность как упрямство — держаться данного слова буквально, мёртвой хваткой, хотя всё, ради чего оно давалось, давно изменилось; и есть верность как творчество — оставаться верным тому, ради чего обещал, находя для этого всё новые формы, потому что старые перестали служить. Первая — верность вещи, *idem*; вторая — верность самости, *ipse*. Марсель говорил, что подлинная верность не может быть простым механическим повторением, потому что тот, кому я верен, и то, чему я верен, — живые, а не застывшие; и что верность, превратившаяся в рутину, — уже измена, только незаметная.

Соедините теперь всех шестерых. Будда: неизменного ядра нет, есть процесс, и сам вопрос «есть ли я» поставлен неправильно. Юм: внутри — только восприятия, и того, кто их сшивает, не найти, но сшивание каким-то образом происходит, и это лабиринт. Локк: «я» — не вещество, а связь; связь эту он назвал памятью, и память не выдержала проверки. Кант: связь — не среди восприятий, а условие их наличия; не вещь, а единство; функция, а не предмет. Сартр: «я» лежит не позади, а впереди; оно не находится, а делается. Рикёр, Ницше, Марсель: делается оно посредством того, что человек связывает себя сквозь время, — и парадигма этого связывания — обещание, а парадигма обещания — верность, которая держит не мёртвую букву, а живое «ради чего».

Что мы знаем теперь

Двадцатый век заглянул внутрь так, как не могли ни Будда, ни Юм, — не интроспекцией, а скальпелем и томографом, — и нашёл в точности то же самое, только с большей точностью.

В мозге нет центра «я». Это не метафора и не философский вывод; это результат десятилетий настоящих, упорных поисков. Искали место, где сходятся все потоки и где сидит тот, кто смотрит, — Декартову шишковидную железу, «картезианский театр», как назвал эту идею Дэниел Деннет. Не нашли. Есть нейронные сети, активные, когда человек думает о себе, — так называемая сеть пассивного режима работы мозга, — но они распределены по всей коре, перекрываются с сетями, работающими при мыслях о других людях, и ни одна из них не является «я» больше, чем любая другая. Есть области, повреждение которых меняет личность до неузнаваемости, — лобные доли, как у Финеаса Гейджа, которому в 1848 году железный лом прошёл сквозь череп и который чудом выжил, но, по словам его лечащего врача, «перестал быть Гейджем»; есть области, повреждение которых отнимает память, как у Клайва Уэринга; есть области, повреждение которых отнимает само ощущение, что тело принадлежит мне. Но нет ни одной области, которая была бы мной.

Будда и Юм оказались правы буквально: заглянув внутрь всеми доступными способами, мы находим потоки и не находим владельца. Философ Томас Метцингер назвал свою книгу 2003 года «Быть никем» и утверждает в ней, что никто никогда не был и не является «я»: есть лишь модель себя, которую мозг непрерывно строит и которую не способен распознать как модель, — и эту прозрачную, невидимую модель мы и называем собой.

А то, как именно эта модель сшивается, показал в семидесятых годах Майкл Газзанига, работавший с пациентами, у которых для лечения тяжёлой эпилепсии перерезали мозолистое тело — толстый пучок нервных волокон, соединяющий левое и правое полушария. У таких людей полушария почти не обмениваются информацией, и можно показать что-то одному, не показывая другому. Газзанига показывал правому полушарию — тому, которое не владеет речью, — команду «встань и иди», и пациент послушно вставал и шёл. Когда его спрашивали, куда он направляется, левое полушарие, которое говорит, но команды не видело, отвечало не «не знаю», а — мгновенно, уверенно — «за колой».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.